**Сердца в Атлантиде**

Стивен Кинг

Глава 1

Когда я прибыл в Университет штата Мэн, на бампере старенького «универсала», который я унаследовал от брата, еще красовался налепленный призыв голосовать за Барри Голдуотера — порванный, выцветший, но еще удобочитаемый: АuН20–4 — USA [Gold-water-four-USA — «Голдуотер для США».]. Когда я покинул университет в 1970 году, машины у меня не было. Но была борода, волосы до плеч и рюкзак с налепленной надписью: «РИЧАРД НИКСОН — военный преступник». Значок на воротнике моей джинсовой куртки гласил: «Я ВАМ НЕ ЛЮБИМЫЙ СЫН». Как мне кажется, колледж — всегда время перемен: последние сильные судороги детства. Но сомневаюсь, чтобы когда-либо перемены эти были того размаха, с какими столкнулись студенты, водворившиеся в студгородки во второй половине шестидесятых. В большинстве мы теперь почти не говорим о тех годах, но не потому, что забыли их, а потому, что язык, на котором мы говорили тогда, был утрачен. Когда я пытаюсь говорить о шестидесятых, когда я хотя бы пытаюсь думать о них, меня одолевают ужас и смех. Я вижу брюки клеш и башмаки на платформе. Я ощущаю запах травки, пачули, ладана и мятной жвачки. И я слышу, как Донован Лейч поет свою чарующую и глупую песню о континенте Атлантида — строки, которые и сейчас в ночные часы бессонницы кажутся мне глубокими. Чем старше я становлюсь, тем труднее отбрасывать глупость и сберегать чары. Мне приходится напоминать себе, что тогда мы были меньше — такими маленькими, что могли вести наши многоцветные жизни под шляпками грибов, твердо веруя, будто это — деревья, укрытие от укрывающего неба. Я знаю, что, в сущности, тут нет смысла, но это все, на что я способен: да славится Атлантида!

Глава 2

Мой последний год в университете я прожил не в общежитии, а в Поселке ЛСД из полусгнивших хижинок на берегу реки Стилуотер, но когда я только поступил в Университет Мэна в 1966 году, то жил в Чемберлен-Холле, одном из трех общежитии: Чемберлен (мужское), Кинг (мужское) и Франклин (женское). Была еще столовая — Холиоук-Холл — чуть в стороне от общежитии, совсем недалеко, не больше чем в одной восьмой мили. Но в зимние вечера, когда дул сильный ветер, а температура опускалась ниже нуля, расстояние это казалось очень большим. Настолько большим, что Холиоук получил название «Дворец Прерий», В университете я научился очень многому, и меньше всего в аудиториях. Я научился, как целовать девушку, одновременно натягивая презерватив (очень нужное искусство, часто остающееся в небрежении), как одним духом выпить банку пива и не срыгнуть, как подрабатывать в свободное время (сочиняя курсовые работы для ребят богаче меня, а таких было большинство), как не быть республиканцем, хотя я происходил от длинной их череды, как выходить на улицы, держа над головой плакат и распевая во всю глотку: «Раз, два, три, четыре, пять, хрен мы будем воевать» и «Джонсон, а на этот час скольких ты убил из нас?». Я научился держаться против ветра, когда пускали слезоточивый газ, а не получалось — так медленно дышать через носовой или шейный платок. Я научился падать набок, подтягивать колени к подбородку, когда в ход шли полицейские дубинки, и закрывать ладонями затылок. В Чикаго в 1968 году я научился и тому, что легавые умеют выбить из тебя все дерьмо, как бы ты ни свертывался и ни закрывался.

Но прежде чем я научился всему этому, я познал наслаждение опасностью «червей».

Осенью 1966 года в шестнадцати комнатах на третьем этаже Чемберлен-Холла жили тридцать два студента, к январю 1967-го девятнадцать из них либо перебрались в другие общежития, либо провалились на экзаменах — пали жертвой «червей». В ту осень «черви» обрушились на нас, будто самый вирулентный штамм гриппа. По-моему, на третьем иммунными оказались только трое. Одним был мой сосед по комнате Натан Хоппенстенд. Другим был Дэвид (Душка) Душборн, староста этажа. Третьим был Стоукли Джонс III, который вскоре стал известен гражданам Чемберлен-Холла как Рви-Рви. Иногда мне кажется, я хочу рассказать вам про Рви-Рви, а иногда мне кажется, что про Скипа Кирка (вскоре, естественно, ставшего «капитаном Кирком» [Герой научно-фантастического сериала «Звездный путь» (1966–1969).]), который на протяжении тех лет был моим лучшим другом. Иногда же мне кажется, что про Кэрол. Чаще же всего я думаю, что мне просто хочется говорить о самих шестидесятых, каким бы невозможным я это ни считал. Но прежде, чем говорить о чем-нибудь из всего этого, мне следует рассказать вам о «червях».

Скип как-то сказал, что вист — это бридж для дураков, а «черви» — это бридж для круглых дураков. Я не стану спорить, хотя тут и упущено главное. «Черви» завораживают — вот что главное, а когда играешь на деньги — на третьем этаже Чемберлена играли по пять центов очко, — то вскоре уже просто не можешь без них. Идеальное число игроков — четверо. Сдаются все карты, а потом надо брать взятки. Каждая сдача имеет двадцать шесть очков: тринадцать «червей», по очку каждая карта, плюс дама пик (мы называли ее Стерва), которая одна стоит тринадцать очков. Партия кончается, когда какой-то игрок набирает сто очков или больше. Выигрывает набравший наименьшее число очков. В наших марафонах каждый из остальных троих игроков выкладывал разницу между своим счетом и счетом победителя. Если, например, разница между моим счетом и счетом Скипа к концу игры равнялась двадцати очкам, мне, если очко стоило пять центов, приходилось платить ему доллар. Мелочь, скажете вы теперь, но год-то был 1966-й, и доллар не был мелочишкой для подрабатывающих в свободное время олухов, которые обитали на третьем этаже Чемберлена.

Глава 3

Я четко помню, когда именно началась эпидемия «червей»: в конце первой недели октября. Помню я это потому, что как раз завершился первый раунд зачетов первого семестра, и я выжил. Выживание было острой проблемой для большинства ребят на третьем этаже Чемберлена; высшего образования мы удостоились благодаря различным стипендиям, займам (большинство их, включая и мой, обеспечивались «Законом об образовании для нужд национальной обороны») и программе «учеба — работа». Это было словно катиться с горки на самодельных санках, скрепленных только клеем, и хотя мы находились в не совсем равных условиях (в смысле степени находчивости, которую проявляли при заполнении всяких анкет, а также усердия, с каким наши школьные советники хлопотали за нас), имелся один общий фактор, от которого некуда было деться. Он воплощался в вышивке, которая висела в гостиной третьего этажа, где проводились наши марафонные сражения в «черви». Эту вышивку мать Тони ДеЛукка вручила ему перед отъездом в университет, приказав повесить там, где он видел бы ее каждый день. По мере того как осень 1966 года начала сменяться зимой, вышивка миссис ДеЛукка словно бы становилась все больше, все ярче с каждой сдачей, с каждым выпадением Стервы, с каждой ночью, когда я заваливался спать, не открыв учебника, не заглянув в свои записи, не выполнив ни одного письменного задания. Она мне даже снилась.

2.5.

Вот о чем напоминали большие ярко-красные вышитые крестиком цифры. Миссис ДеЛукка знала, что они означают. Как знали и мы. Если вы обитали в нормальных общежитиях, таких как Джаклин, или Данн, или Пиз, или Чэдберн, вы могли сохранить свое место в выпуске 1970 года со средним баллом 1,6., то есть если папочка и мамочка продолжали платить за ваше обучение. Не забывайте, речь идет об университете штата, а не о Гарварде или Уэллсли. Однако для студентов, перебивающихся на стипендиях и займах, рубежом были 2,5. Набери меньше 2,5 — иными словами, получи вместо С — С с минусом, — и твои самодельные гоночные саночки почти наверняка развалятся. «Поке-дова, беби, пиши», — как говаривал Скип Кирк.

Первые зачеты я преодолел неплохо, особенно для мальчишки, который изнывал от тоски по дому (до этого времени я никогда в жизни из дома не уезжал, если не считать единственной недели в баскетбольном лагере, откуда я вернулся с вывихнутой кистью и грибками, обосновавшимися у меня между пальцами ног и под мошонкой). Я сдавал пять предметов и получил «В» за все, кроме родного языка. За него я получил «А». Мой преподаватель, который позже развелся с женой и кончил певцом в «Спроул-Пласа» в студгородке Беркли, написал рядом с одним из моих ответов: «Ваш пример ономатопеи просто блестящ». Я послал эту контрольную домой маме и отцу. Мама ответила открыткой с одним словом, пылко написанным поперек оборотной стороны: «Браво!» От этого воспоминания болезненно сжимается сердце — боль почти физическая. По-моему, это был последний раз, когда я приволок домой учебную работу с золотой звездой, приклеенной в углу.

После первого раунда зачетов я не без самодовольства вычислил свой средний балл на тот момент и получил 3,3. Больше он никогда настолько не поднимался, а к исходу декабря я понял, что выбор до предела упрощен: бросить карты и — может быть — перевалить в следующий семестр, не тронув скромную сумму выделенной мне финансовой помощи, или продолжать охоту на Стерву под вышивкой миссис ДеЛукка в гостиной третьего этажа до Рождества, а затем навсегда вернуться в Гейтс-Фоллс.

В Гейтс-Фоллсе я смогу найти работу на ткацко-прядильной фабрике. Мой отец проработал там двадцать лет вплоть до несчастного случая, который стоил ему зрения, и, конечно, он меня туда устроит. Тяжелый удар для матери, но она не станет возражать, если я скажу, что хочу именно этого. В конце-то концов реалисткой в семье была она. Даже когда надежды и разочарования почти сводили ее с ума, она оставалась реалисткой. Какое-то время она будет горько страдать из-за моей неудачи с университетом, и какое-то время меня будет грызть совесть, но и она, и я переживем это. При всем при том я ведь хотел стать писателем, а не чертовым преподавателем родного языка и литературы, и во мне жило твердое убеждение, что университетское образование необходимо только для писателей-снобов.

Однако я не хотел, чтобы меня исключили. Не слишком хорошее начало взрослой жизни. Попахивает неудачей, и все мои размышления в духе Уолта Уитмена о том, что писатель должен заниматься своим делом в гуще народа, попахивали оправданием этой неудачи. И все-таки гостиная третьего этажа влекла меня — потрескивание карт, кто-то спрашивает, сдавать налево или направо, кто-то другой спрашивает, кому достался Шприц (игра в «червей» начиналась с хода двойкой пик, которая у нас, запойных игроков третьего этажа, называлась «Шприц»). Меня преследовали сны, в которых Ронни Мейлфант, первая наичистейшая жопа, какую я встретил после того, как перерос кулачных вредин в младших классах, начинал ходить с пик, пик и только пик, выкрикивая: «Пора поохотиться на Стерву. Ату, Суку!» — визгливым жидким голосом. Думаю, мы практически всегда знаем, чего требуют наши интересы. Но иногда то, что мы знаем, бессильно перед тем, что мы чувствуем.

Глава 4

Мой сосед по комнате в «черви» не играл. Мой сосед по комнате не одобрял объявленную войну во Вьетнаме. Мой сосед по комнате писал письма своей девушке, старшекласснице, в родной город Уиздом каждый день. Поставьте стакан дистиллированной воды рядом с Натом Хоппенстендом, и по сравнению с ним вода покажется исполненной жизни.

Мы с ним жили в комнате №302, возле лестницы, прямо напротив комнаты старосты (логова неописуемо жуткого Душки), в конце коридора от гостиной с ее карточными столиками, переполненными пепельницами и видом на Дворец Прерий. Помещение нас в одну комнату подтверждало (во всяком случае, по моему мнению), что самые страшные предположения относительно университетского управления общежитиями вполне могли соответствовать действительности. В анкете, которую я отослал в управление в апреле 1966 года (когда меня больше всего заботила необходимость решить, куда я поведу Эннмари Сьюси поужинать после выпускного вечера), в этой анкете я указал, что я — А) курильщик; Б) молодой республиканец; В) подаю надежды как исполнитель народных песен на гитаре; Г) засыпаю очень поздно. В своей сомнительной мудрости управление спарило меня с Натом: некурящим будущим стоматологом из семьи демократов Арустукского графства (тот факт, что Линдон Джонсон был демократом, ничуть не меняло отношение Ната к тому, как солдаты США шныряют по Южному Вьетнаму). Над своей кроватью я повесил плакат с Хамфри Богартом;

Нат над своей повесил фотографии своего пса и своей девушки. Девушка была бесцветным созданием в костюме уиздомской группы поддержки и сжимала жезл, точно дубинку. Ее звали Синди. Пса звали Ринти. И девушка, и пес были запечатлены с совершенно одинаковыми зубастыми улыбками. Хреновый сюрреализм, дальше некуда.

Главным пороком Ната, с моей и Скипа точки зрения, была коллекция пластинок, которые он тщательно расставил в алфавитном порядке под Синди и Ринти и прямо над маленьким проигрывателем последней модели «Свинглайн». У него были три пластинки Митча Миллера («Пойте с Митчем», «Еще пойте с Митчем», «Митч с ребятами поет «Джона Генри» и другие любимые американские народные песни»), «Познакомьтесь с Трини Лопес», долгоиграющая пластинка Дина Мартина («Дин свингует в Вегасе!»), долгоиграющая Джерри и «Пейсмейкеров», первый альбом Дейва Кларка — вероятно, самая шумная пластинка сквернейшего рока, когда-либо записанная — и еще многие того же пошиба. Я их все не запомнил. Пожалуй, что и к лучшему.

— Нат, нет! — сказал Скип как-то вечером. — Умоляю, нет! Эпидемия «червей» еще не началась, но до нее оставались считанные дни.

— Умоляю, нет — что? — спросил Нат, не поднимая головы от того, чем он занимался за письменным столом. Казалось, все часы бодрствования он проводил либо в аудиториях, либо за этим столом. Иногда я ловил его на том, что он ковырял в носу и украдкой соскребал добычу (после тщательного и исчерпывающего исследования) о нижний край среднего ящика. Это был его единственный порок.., не считая, естественно, его жутких музыкальных предпочтений.

Перед тем Скип обследовал пластинки Ната, что с полной непринужденностью проделывал во всех комнатах, куда заходил. И вид у него был, словно у врача, изучающего рентгеновский снимок.., снимок дозревшей (и почти наверное злокачественной) опухоли. Он стоял между кроватью Ната и моей в школьной куртке с надписью и бейсбольной кепочке декспровской средней школы. В университете не было другого такого, на мой взгляд, безупречно американского красавца, как Капитан Кирк, да и после встречались они мне очень редко. Скип словно бы понятия не имел о своей красоте, но, конечно, не мог совсем уж ничего не знать о ней — ведь иначе его не укладывали бы в разные постели так часто. Правда, то было время, когда почти любой мог рассчитывать на чью-то постель, но даже по тогдашним меркам Скип был нарасхват. Впрочем, осенью шестьдесят шестого года это еще не началось, осенью шестьдесят шестого сердце Скипа, как и мое, было отдано сердечкам «червей».

— Гнусь, дружочек, — сказал Скип с легкой укоризной. — Извини, но они воняют.

Я сидел за своим столом, курил «пелл-меллку» и искал талон на питание — я постоянно терял хреновы талоны.

— Что воняет? С какой стати ты роешься в моих пластинках? — Перед Натом лежал открытый учебник ботаники, и он срисовывал лист на миллиметровку. Голубую шапочку первокурсника он сдвинул на затылок. Насколько мне известно, на нашем первом курсе Нат Хоппенстенд был единственный, кто натягивал на голову эту тряпку до того, как злополучная футбольная команда Мэна наконец не заработала очко... Произошло это примерно за неделю до Дня Благодарения.

Скип продолжал разглядывать пластинки.

— Тут и вставший член Сатаны увянет. Безусловно.

— Терпеть не могу, когда ты выражаешься! — воскликнул Наг, но из упрямства головы не поднял. Скип прекрасно знал, что Нат терпеть не мог, когда он выражался, отчего и не скупился на выражения. — Да о чем ты вообще говоришь?

— Сожалею, что моя, лексика тебя оскорбляет, но назад своего замечания не беру. Потому что это гнусь, дружочек. Она мне глаза режет. Глаза, блядь, режет.

— Что? — Ват наконец раздраженно оторвал глаза от своего листика, который был начерчен с точностью карты в дорожном атласе. — ЧТО?

— Вот это.

На конверте пластинки, которую держал Скип, девушка с задорным личиком и задорными грудками, торчащими из-под миди-блузки, вроде бы танцевала на палубе торпедного катера. Одна рука была приподнята ладонью наружу в задорном взмахе. На голове задорно сидела задорная матросская шапочка.

— На спор, ты единственный студент во всей Америке, который привез с собой в колледж «Диана Рени поет военно-морские блюзы», — сказал Скип. — Нехорошо, Нат. Ее место на чердаке вместе с хреновыми брючками, в которых ты уж, конечно, щеголял на всех школьных вечеринках и церковных мероприятиях.

Если под хреновыми брючками подразумевались беспоясные немнущиеся дудочки с дурацкой, ничего не держащей пряжечкой сзади, Нат, думаю, привез с собой почти все, какие у него имелись... И был облачен в такие в эту самую минуту. Но я промолчал. Поднял рамку с фотографией моей собственной девушки, обнаружил за ней обеденный талон, схватил его и засунул в карман моих ливайсов.

— Это хорошая пластинка, — сказал Нат с достоинством. — Это очень хорошая пластинка... Настоящий свинг.

— Пх! Свинг? — спросил Скип, бросая ее на кровать Ната (он принципиально не ставил пластинки Ната назад на полку, зная, как это доводит Ната). — «Сказал жених мой: «Так держать», и он пошел служить на фло-о-о-от»? Если это отвечает твоему определению «хорошее», напомни мне, хрен, чтобы я не вздумал пройти у тебя хренов курс лечения.

— Я буду дантистом, а не терапевтом, — сказал Нат, отчеканивая каждое слово. Жилы у него на шее все больше напрягались. Насколько я знаю, в Чемберлен-Холле, а может, и во всем студгородке, Скип Кирк был единственным, кому удавалось проколоть толстую кожу моего соседа, истого янки. — Дантист, к твоему сведению, Скип, это термин латинского происхождения от слова «денс» — зуб.

— Так напомни мне, чтобы я, блин, не вздумал пломбировать у тебя мои хреновые дупла.

— Ну почему ты все время повторяешь это?

— Что именно? — спросил Скип, хотя прекрасно сам знал, но ему требовалось, чтобы Нат произнес «это». В конце концов Нат произносил, и его лицо становилось кирпично-красным. Скип бывал заворожен. Скипа в Нате завораживало все. Как-то капитан сказал мне, что Нат, конечно, инопланетянин, которого к нам излучили с планеты Пай-Мальчик.

— Хрен, — сказал Нат, и тут же его щеки порозовели. Еще несколько секунд — и он уподобился диккенсовскому персонажу, какому-нибудь благовоспитанному юноше из очерков Боза. — Вот что.

— Дурные примеры. Я с ужасом думаю о твоем будущем, Нат. Что, если, хрен, Пол Анка вернется?

— Ты же никогда даже не слышал этой пластинки, — сказал Нат, схватывая «Диану Рени» с кровати и водворяя ее на место между Митчем Миллером и «Стелла Стивене Влюблена!».

— На хрена, — сказал Скип. — Пошли, Пит. Жрать охота. Я взял мою геологию — в следующий четверг предстояла контрольная. Скип выхватил у меня учебник и швырнул обратно на стол, опрокинув фото моей девушки, которая отказывалась трахаться, но, если была в настроении, руками давала медленное, мучительное наслаждение. Никто не работает руками лучше девушек-католичек. На протяжении моей жизни я переменил много мнений, но не это.

— Зачем ты? — спросил я.

— За хреновым столом не читают, — сказал он. — Даже когда ешь здешние помои. В каком сарае ты родился?

— Правду сказать, Скип, я родился в семье, где все читают за столом. Я понимаю, тебе трудно поверить, будто хоть что-то можно делать иначе, чем делаешь ты. Но можно.

Он вдруг стал очень серьезным. Взял меня за локоть, посмотрел мне в глаза и сказал:

— Ну, хотя бы не занимайся, пока ешь, хорошо?

— Хорошо. — Но мысленно я оставил за собой право заниматься, если, блин, захочу или если возникнет такая необходимость.

— Начни таранить лбом стенку и заработаешь язву желудка. А мой старик скапутился от язвы. Не мог остановиться, таранил и таранил.

— А! — сказал я. — Прости.

— Не извиняйся, это случилось давно. А теперь пошли, пока хренов тунец не кончился. Идешь, Натти?

— Мне надо докончить этот лист.

— На хрен этот твой лист!

Скажи Нату такое кто-нибудь другой, Нат взглянул бы на него, словно он выполз из-под трухлявого полена, и молча вернулся бы к своему занятию. Но тут Нат задумался, потом встал и аккуратно снял куртку с двери, на которую всегда ее вешал. Он надел ее, поправил шапочку на голове. Даже Скип не решался прохаживаться по поводу упрямого нежелания Ната расстаться с шапочкой первокурсника. (Когда я спросил Скипа, куда пропала его шапочка — это произошло на третий день наших занятий в университете и на следующий, после которого мы с ним познакомились, — он сказал: «Подтерся разок и забросил хреновину на дерево». Возможно, это было вранье, но полностью я такого варианта не исключаю.) Мы скатились по трем лестничным маршам и выскочили в мягкие октябрьские сумерки. Из всех трех корпусов студенты двигались к Холиоуку, где я дежурил на девяти трапезах в неделю. Теперь я стоял на тарелках, недавно повышенный до них от столовых приборов. А если сумею показать себя с наилучшей стороны, то еще до каникул на День Благодарения могу быть произведен в собиралыцика посуды. Чемберлен, Кинг и Франклин-Холл стояли на пригорках, как и Дворец Прерий. Студенты шли туда по асфальтовым дорожкам, которые спускались в длинную ложбину, сливались в одну широкую, выложенную кирпичом дорогу, которая вела вверх по склону. Холиоук был самым большим из этих четырех зданий и в сумерках весь светился, будто лайнер в океане.

Ложбина, где сливались асфальтовые дорожки, называлась «Этапом Беннета» — если я когда-нибудь и знал почему, то успел давно забыть. По двум дорожкам туда спускались ребята из Кинга и Чемберлена, а по третьей — девочки из Франклина. Там, где дорожки сливались, мальчики и девочки смешивались, болтая, смеясь, обмениваясь взглядами — и откровенными, и застенчивыми. Оттуда они к зданию столовой шли уже вместе по широкой кирпичной дороге, носившей название «Променад Беннета».

Навстречу, прорезая толпу, держа голову опущенной, с обычным замкнутым выражением на бледном, резко очерченном лице двигался Стоукли Джонс III. Очень высокий, хотя заметить это было трудно, потому что он всегда горбился на своих костылях. Его волосы, абсолютно глянцево-черные, без единого намека на хоть сколько-нибудь более светлую прядь, вихрами падали ему на лоб, прятали его уши, чернильными полосками пересекали бледные щеки.

Мода на прическу битлов была в самом разгаре, хотя большинство ребят, не мудрствуя, просто зачесывали волосы не вверх, а вниз, укрывая таким образом лоб (а заодно и обильные всходы прыщей). Такое сю-сю было не для Стоукли Джонса. Его средней длины волосы располагались так, как этого хотел он. Сгорбленная спина угрожала остаться такой навсегда — если уже не осталась. Глаза у него обычно были опущены, словно следили за дуговыми взмахами костылей. Если эти глаза внезапно поднимались и встречали ваш взгляд, их неистовство ошарашивало. Он был Хитклифом из Новой Англии, но только с ногами-спичками, начиная от бедер. Ноги эти, обычно закованные в металл, когда он отправлялся на занятия, были способны двигаться, но лишь очень слабо, будто щупальца издыхающего кальмара. По сравнению его торс выглядел мускулистым. В целом его фигура производила гротескное впечатление. Стоук Джонс выглядел как реклама пищевых добавок Чарльза Атласа, в которой «ДО» и «ПОСЛЕ» причудливо слились воедино в одной фигуре. Он завтракал, обедал и ужинал, едва Холиоук открывался, и к концу первых трех недель нашего первого семестра мы все уже знали, что причина не в его физическом недостатке — просто он, как Грета Гарбо, предпочитал одиночество.

«На хрен его!» — сказал как-то Ронни Мейлфант, когда мы шли завтракать. Он только что поздоровался с Джонсом, а Джонс проскочил на костылях мимо, даже не кивнув. Однако он что-то бормотал под нос — мы все расслышали. «Мудак безногий!» — Это уже Ронни, само сочувствие. Наверное, результат взросления в воняющих блевотиной пивных на Нижней Лисбон-стрит в Льюстоне все эти его любезность, обаяние и joie de vivre [жизнерадостность (фр.).].

— Стоук, как делишки? — спросил Скип в тот вечер, когда Джонс на костылях бросил свое тело ему навстречу. Джонс всегда ходил так: размеренными бросками, наклоняя торс вперед, что придавало ему сходство с деревянной фигурой на носу старинного корабля. Стоук постоянно говорил: а пошел ты на.., тому, что иссушило его нижнюю половину; Стоук постоянно показывал ему фигу. Стоук смотрел на вас неистовыми глазами, посылая и вас на... Загоните себе в жопу, посидите на нем, повертитесь, съешьте меня прямо так под соусом «Самый Смак».

Он никак не откликнулся, только на мгновение поднял голову и скрестил взгляд со Скипом. Потом опустил подбородок и проскочил мимо нас. Из-под его вздыбленных волос стекал пот и струился по лицу. Еле слышно он бормотал: «рви-РВИ, рви-РВИ, рви-РВИ», не то отбивая такт.., не то выражая вслух то, что он хотел бы сделать со всей нашей оравой, идущей на своих ногах.., а может, и то, и другое. И его запах: кисло-едкий запах пота — постоянный, потому что он не желал двигаться неторопливо, неторопливость словно оскорбляла его. Но было и еще что-то. Запах пота был густым, но не тошнотным. Подлежащий запах был куда менее приятным. В школе я занимался бегом (как студент, вынужденный выбирать между «Пелл-Меллом» и эстафетами, я выбрал то, что опасно для жизни) и тогда же узнал эту комбинацию запахов. Обычно ее приходилось обонять, когда кто-нибудь из ребят, простуженный или с гриппом, все-таки выходил на беговую дорожку. Так пахнет только трансформатор электропоезда, слишком долго выдерживавший слишком большие нагрузки.

Затем он оказался позади нас. Стоук Джонс, вскоре прозванный Рви-Рви с легкой руки Ронни Мейлфанта, на вечер освободивший ноги от тяжелых металлических вериг и возвращающийся к себе в общежитие.

— Эй, что это? — спросил Нат, остановившись и оглядываясь через плечо. Мы со Скипом тоже остановились и оглянулись. Я хотел было спросить Нага, о чем это он, но тут и сам увидел. На Джонсе была джинсовая куртка. На се спине вроде бы черным фломастером был начертан еле различимый в гаснущем свете раннего осеннего вечера какой-то знак внутри круга.

— Не знаю, — сказал Скип. — Смахивает на воробьиный следок.

Мальчик на костылях замешался в толпе, торопившейся к еще одному ужину вечером еще одного четверга в еще одном октябре. Почти никто из мальчиков не носил бороды, почти все девочки были в юбках и блузках с отложными воротничками. Всходила почти полная луна, бросая на них на всех оранжевый свет. До полного расцвета Эпохи Хиппи оставалось еще два года, и ни один из нас троих не понял, что мы в первый раз увидели Знак Мира.

Глава 5

Завтрак в субботу входил в число моих дежурств на посудном конвейере в Холиуоке. Хорошее дежурство, потому что по субботам в столовой утром бывало затишье. Кэрол Гербер, занимавшаяся столовыми приборами, стояла у начала конвейера. Я стоял следующим, хватал тарелки, когда поднос проезжал мимо, ополаскивал и ставил на тележку у меня за спиной Если подносы двигались один за другим, как обычно бывало по субботним и воскресным вечерам, я просто составлял их вместе с объедками, а ополаскивал потом в минуты передышки. С другого бока от меня стоял мальчик — или девочка, — составляя стаканы и чашки в особые посудомоечные решетки. В смысле работы Холиоук был неплохим местом. Время от времени остряки вроде Ронни Мейлфанта присылали несъеденную колбаску или сосиску, напялив на ее конец резинку; а то овсянка возвращалась с тщательно выложенным на ней из обрывков бумажной салфетки «Трахнемся!». Однажды на супницу с застывшим соусом к мясному рулету был прилеплен призыв: «СПАСИТЕ, МЕНЯ ДЕРЖАТ ПЛЕННИКОМ В КОРОВЬЕМ КОЛЛЕДЖЕ», и вы не представляете, как способны насвинячить некоторые ребята — тарелки, залитые кетчупом, стаканы из-под молока, набитые картофельным пюре, расквашенные овощи — но все-таки это была совсем неплохая работа, особенно в субботние утра.

Один раз я посмотрел мимо Кэрол Гербер (которая выглядела на редкость красивой для такого раннего часа) и увидел Стоука Джонса. Он сидел спиной к посудному окошку, но нельзя было не узнать костыли, прислоненные к столу рядом с ним, или странного рисунка на спине его куртки. Скип был прав; настоящий воробьиный следок (прошел почти год, когда я в первый раз услышал, как какой-то тип в телевизионной программе назвал его «отпечатком лапы Великой Американской Курицы»).

— Ты не знаешь, что это? — спросил я у Кэрол.

— Нет. Наверное, какая-то личная шутка.

— Ну да! Стоук не шутит, никогда.

— А ты, оказывается, поэт! Вот не знала.

— Брось, Кэрол! Ты меня доконаешь!

Когда наша смена кончилась, я проводил ее до Франклина (твердя себе, что с моей стороны просто невежливо не проводить Кэрол до общежития и я ни с какой стороны не изменяю Эннмари Сьюси в Гейтс-Фоллсе), а потом побрел к Чемберлену, прикидывая, кому может быть известно, что означает этот воробьиный следок. Только теперь, задним числом, я вдруг сообразил, что мне и в голову не пришло спросить у самого Джонса. А тогда, направляясь к своей двери, я увидел нечто, полностью изменившее ход моих мыслей. После того как я ушел в шесть тридцать в надежде встать рядом с Кэрол у конвейера, кто-то успел обмазать дверь Дэвида Душборна кремом для бритья — вдоль косяков, ручку, а особенно густая полоса была проведена по полу. В ней отпечаталась босая ступня, и я улыбнулся. Душка открывает дверь, облаченный только в полотенце, по дороге в душ и вжжжжжы! Три ха-ха.

Все еще ухмыляясь, я вошел в 302-ю. Нат писал за своим столом. Его изогнутая рука старательно загородила блокнот, из чего я сделал вывод, что пишет он письмо Синди за этот день.

— Кто-то вымазал дверь Душки кремом для бритья, — сказал я, направляясь к моим полкам и хватая учебник геологии в намерении отправиться с ним в гостиную третьего этажа и немножко подготовиться к контрольной во вторник. Нат попытался напустить на себя серьезный, неодобряющий вид, но не сумел и тоже ухмыльнулся. В те дни он все время стремился к праведной добродетельности и все время чуть-чуть не дотягивал. Думаю, с годами он в этом поднаторел, как ни жаль.

— Слышал бы ты, как он завопил, — сказал Нат и фыркнул, но тут же прижал кулачок ко рту, подавляя дальнейшее недостойное хихиканье. — А уж ругался! Просто перекрыл рекорд Скипа.

— Ну, рекорд Скипа в матюганье так просто не перекрыть. Нат смотрел на меня, и между его бровями возникла озабоченная складка.

— А это не ты? Я же знаю, ты встал рано...

— Если бы мне вздумалось украсить дверь Душки, я употребил бы туалетную бумагу, — сказал я. — Мой крем для бритья весь расходуется на мое лицо. Я ведь неимущий студент, как и ты. Не забывай.

Складка разгладилась, и Нат вновь уподобился мальчику в церковном хоре. Только теперь я осознал, что на нем нет ничего, кроме трусов и дурацкой голубой шапочки.

— Это хорошо, — сказал он. — А то Дэвид орал, что найдет, кто это сделал, и позаботится, чтобы он получил дисциплинарное взыскание.

— ДИВЗ за крем на его хреновой двери? Сомневаюсь, Нат.

— Чушь собачья, но по-моему, он серьезно, — сказал Нат. — Иногда Дэвид Душборн напоминает мне тот фильм про сумасшедшего капитана. Ну, с Хамфри Богартом. Помнишь его?

— Угу. «Мятеж на Кейне».

— Ага. И Дэвид.., ну, скажем, по его выходит, что у старосты этажа другого дела нет, кроме как добиваться ДИВЗов.

В университетском кодексе правил поведения исключение было крайней мерой, приберегаемой для проступков вроде воровства, затевания драки и владения или употребления наркотиков. Дисциплинарное взыскание было следующей мерой, карой за проступки вроде присутствия девушки в твоей комнате (но если она оказывалась там после наступления комендантского часа в женском общежитии, нависало исключение, как ни трудно этому поверить теперь), наличия там алкогольных напитков, использования шпаргалок на экзамене или списывания. Помимо первого, любой из вышеуказанных проступков тоже теоретически мог привести к исключению, а если дело касалось шпаргалок (особенно если их обнаруживали на переводных или выпускных экзаменах), довольно часто приводило, но чаще ограничивалось дисциплинарным взысканием, которое могло быть снято только после окончания семестра. Мне не хотелось верить, что староста общежития попытается добиться ДИВЗа у декана Гарретсена за несколько безобидных мазков бритвенного крема.., но ведь это был Душка, самодовольная скотина, который все еще неукоснительно проводил еженедельную проверку комнат и таскал с собой табуреточку, чтобы добираться до верхних полок в стенных шкафах, как будто считал это частью своих обязанностей. Возможно, такую идею он заимствовал у РОТС [Система добровольной военной подготовки с присвоением звания офицера запаса для школьников и студентов.], которую он обожал столь же пылко, как Нат — Синди и Ринти. Кроме того, он ставил ребятам минусы — это правило все еще действовало в университете, хотя на практике применялось почти только в программе РОТС — за плохую уборку комнаты. Такое-то количество минусов — и вы автоматически получали ДИВЗ. В теории вы могли вылететь из университета, лишиться отсрочки от призыва и кончить игрой в прятки с пулями во Вьетнаме потому лишь, что забыли вынести мусор и подмести под кроватью.

Дэвид Душборн сам стал студентом по займу, и его обязанности старосты — тоже в теории — ничем не отличались от моей работы в посудомойной. Однако Душка эту теорию отвергал. Душка считал себя На Голову Выше Всех, одним из избранных, гордым, доблестным. Его семья жила на Восточном побережье, понимаете? В Фалмуге, где в 1966 году еще действовали пятьдесят с лишним голубых законов пуританских времен. Что-то произошло с его семьей, что Лишило Их Подобающего Статуса, словно в старинной мелодраме, но Душка все еще одевался как выпускник фалмутовской Самой Престижной Школы — на лекции являлся в блейзере, по воскресеньям надевал костюм. Трудно было бы найти более полную противоположность Ронни Мейлфанту с его трущобной манерой выражаться, его предубеждениями и с его блестящим умением жонглировать цифрами. Когда они шли по коридору, было прямо-таки видно, как Душка пугливо сторонится Ронни, чьи рыжие волосы падали на лицо, которое словно старалось убежать само от себя — донельзя выпуклый лоб и почти отсутствующий подбородок. А между ними располагались глаза Ронни, всегда с засохшими выделениями в уголках, и нос с постоянной каплей на кончике.., не говоря уж о губах, до того красных, что они казались намазанными чем-то дешевым и ярко-вульгарным, купленным со скидкой по случаю распродажи.

Душке Ронни не нравился, но Ронни не был единственным объектом его неодобрения. Душке вроде бы не нравился никто из ребят, которых ему полагалось опекать как старосте. Нам он тоже не нравился, а Ронни его просто ненавидел. Неприязнь Скипа Кирка была пронизана презрением. Он участвовал в РОТС с Душкой (то есть до ноября, когда Скип решил не продолжать курса) и говорил, что Душка ни на что не годится, кроме как целовать жопу. Скип, который чуть было не попал в бейсбольную команду штата, когда окончил школу, имел особый зуб на старосту нашего этажа. «Душка, — говорил Скип, — не выкладывается». Самый страшный грех в глазах Скипа. Ты обязан выкладываться. Даже если задаешь свиньям помои, все равно, бля, выкладывайся.

Я не любил Душку, как все. Я готов мириться со многими человеческими недостатками, но самодовольных скотов не терплю. И все-таки я испытывал к нему долю сочувствия. Он был лишен чувства юмора, а это, на мой взгляд, калечит не менее того, что искалечило ноги Стоука Джонса. По-моему, Душка и самому себе не очень нравился.

— О ДИВЗе вопроса не встанет, если он не найдет виноватого, — сказал я Нату. — А если даже и найдет, не думаю, чтобы декан Гарретсен согласился наложить его за бритвенный крем на двери старосты.

Однако Душка умел быть убедительным. Пусть он Утратил Статус, но тем не менее сохранял нечто, свидетельствовавшее, что он все еще принадлежит к верхнему слою. Естественно, для нас всех это служило лишней причиной не терпеть его. Скип прозвал его «Трусца», потому что во время тренировок по программе РОТС он не бежал по дорожке во всю силу, а больше трусил.

— Ну, раз это не ты... — сказал Нат, и я чуть было не расхохотался. Нат Хоппенстенд сидит в одних трусах и шапочке, грудь у него совсем детская — узкая, безволосая, в веснушках. Нат проникновенно глядит на меня поверх грудной клетки из выпирающих хрупких ребер. Нат в роли ОТЦА.

Понизив голос, он сказал:

— По-твоему, это Скип?

— Нет. Если уж гадать, кто на этом этаже мог решить, будто покрасить дверь старосты кремом для бритья такая уж отличная шутка, я бы сказал...

— Ронни Мейлфант.

— В яблочко! — Я нацелил в Ната палец пистолетом и подмигнул.

— Я видел, как ты шел к Франклину с этой блондинкой, — сказал он. — С Кэрол. Очень хорошенькая.

— Просто для компании, — сказал я.

Нат, в трусах и шапочке, ухмыльнулся, словно показывая, что его не проведешь. Возможно, он был прав. Да, она мне нравилась, хотя я почти ничего о ней не знал — только что она из Коннектикута. Из этого штата работающие студенты были редкостью. Я пошел по коридору в гостиную с геологией под мышкой. Там сидел Ронни в шапочке, зашпиленной спереди кверху так, что она смахивала на шляпу газетного репортера. С ним сидели еще двое ребят с нашего этажа — Хью Бреннен и Эшли Райе. По виду всех троих нельзя было бы заключить, что они проводят это субботнее утро так уж увлекательно, но едва Ронни увидел меня, глаза у него загорелись.

— Пит Рили! — сказал он. — Ты-то мне и нужен! В «черви» играть умеешь?

— Да. Но, к счастью для меня, я умею и заниматься. — И я взмахнул учебником, уже полагая, что мне придется спуститься в гостиную второго этажа.., то есть если я правда намерен заниматься. Поскольку Ронни не умел молчать. Видимо, был просто не способен молчать. Ронни Мейлфант был подлинный язык-пулемет.

— Ну, послушай, одну партийку до сотни, — заныл он. — По пять центов очко, а то эта парочка играет в «черви», будто предки трахаются.

Хью с Эшли тупо ухмыльнулись, будто им был сделан лестный комплимент. Оскорбления Ронни были настолько грубыми и прямолинейными, настолько налитыми злостью, что почти все ребята принимали их за шутки, а то и за завуалированные похвалы. И так, и эдак они ошибались. Каждое ядовитое слово, когда-либо произнесенное Ронни, означало именно то, что означало.

— Ронни, у меня во вторник контрольная, а я так и не разобрался с геосинклиналью.

— Забей ты на геосинклиналь, — сказал Ронни, и Хью с Эшли захихикали. — У тебя же останется весь сегодняшний день и завтрашний и понедельник на эту твою геоблин-синаль.

— В понедельник занятия, а завтра мы со Скипом собираемся в город. В методистской церкви открытая спевка, и мы...

— Прекрати, умолкни, пожалей мои бедные яйца и ничего не говори мне про эту говноспевку. Слушай, Пит...

— Ронни, мне правда...

— Эй вы, полудурки, сидите тут смирненько, хрен! — Ронни одарил Хью с Эшли злобным взглядом. Ни тот ни другой не возразили ему. Вероятно, им было по восемнадцать, как нам всем, но любой, кто учился в университете, подтвердит, что каждый сентябрь туда поступают совсем юные восемнадцатилетние ребята, и особенно из сельских штатов. Вот таким Ронни кружил головы. Они питали к нему благоговейный страх. Он забирал у них в долг талоны на питание, хлестал полотенцем в душевой, обвинял в том, что они поддерживают цели преподобного Мартина Черной Образины Кинга (который, сообщал вам Ронни, на митинги протеста приезжает в «ягуаре»), занимал у них деньги и на любую просьбу одолжить спичку отвечал: «Моя жопа, твоя рожа, обезьяний хвост». Несмотря на все это, они любили Ронни.., нет, любили его за все это. Они любили его потому, что он такой.., такой настоящий студент.

Ронни ухватил меня за шею и хотел затащить в коридор поговорить. Я, не питавший к нему ни благоговения, ни страха и совсем не наслаждаясь звериным запахом его подмышек, ухватил его за пальцы, отогнул их и сдернул с себя его руку.

— Без рук, Ронни.

— Ох-ох-ох! Да ладно, ладно! Просто зайдем сюда на минутку, лады? И отпусти руку, больно. И ведь этой рукой я дрючусь.

Я выпустил его руку, прикидывая, мыл ли он ее с того раза, когда в последний раз дрючился, но позволил ему увести себя в коридор. Тут он ухватил меня за локти и доверительно заговорил, широко открыв глаза в засохших комочках.

— Эти мудаки играть не умеют, — сказал он убедительным шепотом. — Два недоноска, Питти, только они эту игру любят. Любят, хрен, эту игру, сечешь? Я ее не люблю, но в отличие от них играть умею. И потом, я на мели. А вечером в Хоке идет парочка фильмов Богарта. Если я сумею их нагреть на пару баксов..

— Фильмы Богарта? Случаем, не «Мятеж на Кейне»?

— Во-во! «Мятеж на Кейне» и «Мальтийский сокол». Боги в самом хреновом своем расцвете. Ты бы посмотрел на себя, лапочка. Если я нагрею этих недоносков на два бакса, то смогу пойти. Нагрею на четыре — прихвачу какую-нибудь чувиху из Франклина, и, может, потом она немножко отсосет.

Вот вам весь Ронни, дерьмовый романтик. Я вдруг увидел его Сэмом Спейдом в «Мальтийском соколе», как он ставит Мэри Эшли на четвереньки. От одной этой мысли у меня заложило нос.

— Но вот в чем зацепка. Пит. «Черви» втроем — всегда риск. Кто пойдет на все, если остается одна хреновая несданная карта?

— Как вы играете? До сотни, и все проигравшие платят выигравшему?

— Угу. А если ты сядешь с нами, я выкашливаю тебе половину выигрыша. И плюс возвращают весь твой проигрыш. — Он ошеломил меня святой улыбкой.

— А что, если я у тебя выиграю?

Ронни на секунду растерялся, потом ухмыльнулся еще шире.

— Ни в жисть, лапочка. Я в картах профессор. Я взглянул на свои часы, потом на Эшли с Хью. Они и правда не выглядели грозными соперниками, спаси их Господь.

— Давай так, — сказал я. — Одна партия до ста. Пять центов очко. Никто никому ничего не выкашливает. Мы играем, потом я иду заниматься, и все приятно проводят субботу.

— Лады. — Когда мы вернулись в гостиную, он добавил:

— Ты мне нравишься, Пит, но дело есть дело — твои дружки-гомики в школе никогда тебя и вполовину так не трахали, как я сейчас оттрахаю.

— Друзей-гомиков у меня в школе не было, — сказал я, — по субботам я обычно добирался на попутках до Льюстона оттрахать твою сестричку.

Ронни ухмыльнулся до ушей, сел, взял колоду и начал тасовать.

— Я се всему обучил, верно?

Перепохабить сыночка миссис Мейлфант никто не мог, вот в чем была соль. Многие пытались, но, насколько я знаю, никому это не удалось.

Глава 6

Ронни был лицемер с грязным языком, трусливой душонкой и постоянной плесневело-обезьяньей вонью, но в карты он играть умел, надо отдать ему справедливость. Он не был гением, как утверждал, — во всяком случае, в «червях», где слишком много зависит от чистой удачи, но играть он умел. Когда он сосредоточивался, то запоминал все разыгранные карты.., вот почему, мне кажется, ему не нравилось играть в «черви» втроем, когда одна карта остается несданной. А когда в игре участвовали все карты, Ронни был крепким орешком.

Однако в то первое утро мне не на что было пожаловаться. Когда Хью Бреннен перевалил за сотню, у меня было тридцать три очка против двадцати восьми у Ронни. Прошло два-три года с тех пор, как я играл в «черви» в последний раз, и впервые я играл на деньги, и я решил, что пара монет — маленькая плата за такое удовольствие. Эта партия обошлась Эшли в два доллара пятьдесят центов. Бедняге Хью пришлось выкашлянуть три доллара шестьдесят центов. Выходило, что Ронни выиграл деньги на свое свидание, хотя я подумал, что девочка должна быть ярой поклонницей Богарта, если согласится его пососать. Или хотя бы поцеловать при прощании, если на то пошло.

Ронни распушился, точно ворона, охраняющая раздавленную колесом добычу.

— Выиграл, — сказал он. — Сочувствую вам, ребята, но выиграл я, Рили. Прямо как в песне Дорса: парни не знают, но девчушки понимают.

— Ты болен, Ронни, — сказал я.

— Давайте еще, — сказал Хью. По-моему, Р. Т. Барнум был совершенно прав: действительно, каждую минуту рождается олух вроде Хью. — Я хочу отыграться.

— Ну, — сказал Ронни, показывая в широкой улыбке паршивые зубы. — Я согласен дать тебе хотя бы шанс. — Он посмотрел на меня. — А ты как, друг?

Мой учебник по геологии валялся забытый на диване позади меня. Я хотел вернуть свой четвертак и добавить к нему парочку-другую монет, чтобы имелось, чем побрякать. А еще больше я хотел прищучить Ронни Мейлфанта.

— Валяй, сдавай, — сказал я и добавил в первый раз слова, которые в следующие беспокойные недели повторял тысячекратно:

— Налево или направо?

— Новая партия, значит, направо. Ну и мудак! — Ронни закудахтал, потянулся и ублаготворение следил, как карты покидают колоду. — До чего же я люблю эту игру!

Глава 7

На этой второй партии я и зацепился. На этот раз вместо Хью до сотни взлетел Эшли, чему с восторгом способствовал Ронни, обрушивавший Стерву на бедную голову Эшли при каждом удобном случае. Мне в этой партии дама пик пришла только дважды. В первый раз я ее придерживал, выжидая, когда представится возможность взорвать на ней Эшли, и уже начинал думать, что в конце концов сам с ней останусь, но туг Хью Бреннен отобрал ход у Эшли и тут же пошел с бубен. Ему следовало бы знать, что этой масти у меня не было с самого начала партии, но Хью нашего мира никогда ничего не знают. Вот, полагаю, почему Ронни нашего мира так любят играть с ними в карты. Я сбросил мою Стерву, зажал нос и загоготал на Хью. Вот так в давние нелепые дни шестидесятых мы выражали торжество.

Ронни насупился.

— Чего ты ждал? Ты же мог раньше выбить этого мудилу! — Он кивнул на Эшли, который смотрел на нас довольно-таки тупым взглядом.

— Верно, но я не такой дурак. — И я постучал по записи очков. К тому моменту у Ронни их было тридцать, у меня — тридцать четыре. У тех двоих было гораздо больше. И вопрос стоял не о том, кто из жертв Ронни проиграет, но кто выиграет из тех двоих, которые умеют играть.

— Я и сам не прочь посмотреть фильмы с Боги, знаешь ли, ЛАПОЧКА.

Ронни оскалил сомнительные зубы в усмешке. К этому времени она адресовалась галерке. Вокруг нас столпилось уже человек шесть зрителей. Среди них были Скип и Нат.

— Так думаешь играть, а? Ладно. Растяни пасть, дубина! Сейчас я тебе в нее вложу кое-что.

Две сдачи спустя вложил ему я. Эшли, начавший эту сдачу с девяноста восемью очками, быстренько спасовал. Зрители в мертвой тишине следили, смогу ли я всучить Ронни шестерку, число, которое мне было необходимо, чтобы отстать от него на очко.

Ронни вначале держался, на чужие ходы только сбрасывал и умело уклонялся от того, чтобы ход перешел к нему. Если в «червях» у вас мелкие карты, вы практически пуленепробиваемы.

— Рили спекся, — сообщил он зрителям. — До хруста, блин!

Я и сам так думал, но у меня была дама пик. Если я сумею ее ему всучить, то все-таки выиграю. С Ронни я много не получу, но остальные двое будут харкать кровью — больше пяти баксов с них двоих. И я увижу, как изменится лицо Ронни. Вот чего мне хотелось больше всего — увидеть, как злорадство уступит место злости. Мне хотелось заткнуть ему глотку.

Решали последние три взятки. Эшли пошел с шестерки червей. Хью положил пятерку. Я положил тройку. Я увидел, как угасла улыбка Ронни, когда он положил девятку и взял эту взятку. Его фора сократилась до трех очков. И, что было еще лучше, он наконец-то все-таки получил ход. У меня остались валет треф и дама пик. Если у Ронни есть мелкая трефа, мне придется скушать Стерву и терпеть его торжествующее кукареканье, которое будет очень язвящим. Но если...

Он пошел с пятерки бубен. Хью положил двойку, а Эшли, тупо ухмыляясь и явно не понимая, что он, собственно, делает, сбросил карту другой масти.

Мертвая тишина вокруг.

И тогда с улыбкой я довершил взятку — взятку Ронни! — положив поверх трех их карт мою даму пик. Вокруг стола прошелестел вздох, а когда я поднял глаза, то увидел, что полдюжины зрителей превратилась в полную дюжину. К косяку двери прислонялся Дэвид Душборн, скрестив руки на груди, сверля нас мрачным взглядом. Позади него в коридоре стоял еще кто-то. Стоял кто-то, опираясь на костыли.

Думаю, Душка уже сверился со своей залистанной книжицей правил — «Правила поведения в общежитии Университета штата Мэн», издание 1966–1967 года — и с разочарованием не обнаружил в ней никаких запрещений карточных игр, даже на деньги. Но, поверьте мне, его разочарование было ничто в сравнении с разочарованием Ронни.

Есть проигравшие, которые умеют проигрывать, есть кислые проигравшие, угрюмые проигравшие, злящиеся проигравшие, плачущие проигравшие.., а кроме того, есть сверхдерьмовые проигравшие. Ронни принадлежал к сверхдерьмовому типу. Щеки у него заалели, а вокруг прыщей стали почти лиловыми. Рот превратился в узкую полоску, и я увидел, как задвигалась его нижняя челюсть — он начал жевать губы.

— О черт! — сказал Скип. — Поглядите, кто сидит в дерьме!

— Почему ты пошел так? — взорвался Ронни, не замечая Скипа, не видя в комнате никого, кроме меня. — Почему ты пошел так, говнюк?

Я был ошеломлен этим вопросом и — должен признаться — возликовал от его ярости.

— Ну, — сказал я, — по утверждению Винсента Ломбарди, выигрыш — это еще не главное, главное — просто выигрыш. Плати, Ронни.

— Ты педик, — сказал он. — Хренов гомик. Кто сдавал?

— Эшли, — сказал я. — А если хочешь назвать меня шулером, говори прямо и громко. И тогда я обойду вокруг стола, схвачу тебя, пока ты не сбежал, и выбью из тебя все сопли.

— Сопли на моем этаже никто ни из кого выбивать не будет! — резко заявил Душка из двери, но никто на него не оглянулся. Все смотрели на меня и Ронни.

— Я тебя шулером не обзывал, я просто спросил, кто сдавал, — сказал Ронни, и я почти увидел, какого физического усилия ему стоило взять себя в руки, проглотить пилюлю, которую я ему преподнес, и улыбнуться так, как он улыбнулся. Однако в его глазах стояли слезы ярости (эти глаза, большие, зеленые, были единственным, что подкупало в наружности Ронни), а под ушными мочками ходили желваки. Словно по сторонам его лица бились два сердца. — Говна печеного: ты отстал от меня на десять очков, итого пятьдесят центов. На хрена.

Я не был звездой школы, как Скип Кирк — во внеучебное время только дискуссионный клуб да беговая дорожка, — и я еще ни разу в жизни никому не угрожал выбить все сопли, однако Ронни словно бы вполне подходил для начала, и. Бог свидетель, я бы так и поступил. Думаю, все остальные тоже это поняли. В комнате бушевал юношеский адреналин, мы чувствовали его запах, почти ощущали его вкус. Какая-то моя часть — заметная часть — ждала, чтобы Ронни дал еще повод. Другая часть жаждала дать ему по яйцам.

На столе появились деньги. Душка сделал шаг вперед, хмурясь еще мрачнее, но не сказал ничего.., во всяком случае, про деньги. Однако он спросил, есть ли тут тот, кто вымазал его дверь бритвенным кремом или же те, кто знают, кем она была вымазана. Мы все оглянулись на него и увидели, что Стоук Джонс встал в дверях, когда Душка вошел внутрь. Стоук висел на костылях, наблюдая за нами знающими глазами.

Наступила секунда тишины, а затем Скип сказал:

— А ты уверен, Дэвид, что не вымазал ее сам, разгуливая во сне?

Взрыв смеха, и настал черед Душки покраснеть. Краснота возникла у него на шее, всползла вверх по щекам и лбу к корням его короткой стрижки — гомосексуальные прически на манер битлов были не для Душки, большое вам спасибо.

— Предупредите, чтобы это больше не повторялось, — сказал Душка, тоже бессознательно подражая Богарту. — Я не позволю смеяться над моим авторитетом.

— А иди ты... — пробормотал Ронни. Он собрал карты и тоскливо их тасовал.

Душка сделал три широких шага дальше в комнату, ухватил Ронни за плечи его гарвардской рубашки и потянул вверх. Ронни вскочил сам, чтобы рубашка не разорвалась. Хороших рубашек у него было мало. Как и у нас всех.

— Что ты мне сказал, Мейлфант?

Ронни посмотрел но сторонам и, полагаю, увидел то, что видел почти всю свою жизнь: ни помощи, ни сочувствия ни от кого. Как обычно, он был совсем один. И он понятия не имел почему.

— Ничего я не говорил. Брось свою хреновую паранойю, Душборн.

— Извинись!

Ронни попытался вывернуться из его рук.

— Да я ж ничего не говорил, чего же мне извиняться?

— Все равно извинись. И я хочу услышать искреннее сожаление.

— Да бросьте, — сказал Стоук Джонс. — Все вы. Видели бы вы себя со стороны. Глупость в энной степени.

Душка удивленно посмотрел на него. Мы все, по-моему, удивились. Возможно, Стоук сам себе удивился.

— Дэвид, ты просто зол, что кто-то вымазал твою дверь кремом, — сказал Скип.

— Ты прав. Я зол. И жду твоих извинений, Мейлфант.

— Остынь, — сказал Скип. — Ронни просто разнервничался, потому что продул почти выигрышную партию. Он не мазал кремом твою хренову дверь.

Я взглянул на Ронни, интересуясь, как он воспримет столь редкий случай: кто-то вступился за него! — и перехватил предательское движение его зеленых глаз — они почти метнулись в сторону. И я уже практически не сомневался, что дверь Душки все-таки вымазал именно Ронни. Да и был ли более подходящий кандидат среди всех, кого я знал?

Заметь Душка это виноватое движение глаз, он, конечно, пришел бы к такому же выводу. Но он смотрел на Скипа. Скип невозмутимо смотрел на него, и, выждав несколько секунд, чтобы выдать это за собственное решение (хотя бы для себя, если не для нас), Душка отпустил рубашку Ронни. Ронни встряхнулся, разгладил складки на плечах и начал рыться в карманах, ища мелочь, чтобы заплатить мне.

— Я сожалею, — сказал Ронни. — Кто бы ни въелся тебе в печенку, я сожалею. Сожалею как черт, сожалею как дерьмо, до того сожалею, что жопа ноет. Довольно с тебя?

Душка отступил на шаг. Я сумел уловить адреналин и подозреваю, что Душка не менее ясно ощутил волны неприязни, катившиеся в его направлении. Даже Эшли Райе — вылитый толстячок-медвежонок из детских мультиков — смотрел на Душку пустым недружелюбным взглядом. Это был случай, который поэт Гарри Снайдер мог бы назвать плохой бейсбольной кармой. Душка был старостой — первое замечание. Он пытался управлять нашим этажом, будто это была часть его возлюбленной программы РОТС, — второе замечание. И он был говнюком-второкурсником в эпоху, когда второкурсники еще верили, что измываться над первокурсниками это их святой долг, — третье замечание. Душка, покинь поле!

— Предупреждаю, что я не намерен мириться с дурацкими школьными штучками на моем этаже, — сказал Душка (ЕГО этаж, доходит?). Он стоял прямой, как шомпол, в своем свитере с «У» и «М» и брюках хаки — ОТГЛАЖЕННЫХ брюках хаки, хотя была суббота. — Тут НЕ школа, господа. Это Чемберлен-Холл Университета штата Мэн. Ваши деньки кражи бюстгальтеров кончились. Вам пришло время вести себя, как ведут себя студенты.

Наверное, не без причины в альбоме выпускников 1966 года меня единогласно обозначали как Остряка Класса. Я щелкнул каблуками, лихо отдал честь на английский манер, вывернув ладонь вперед, и отчеканил: «Есть, сэр!» С галерки донесся нервный смешок, Ронни злорадно фыркнул, Скип широко улыбнулся. Глядя на Душку, Скип пожал плечами, поднял руки и выставил вперед ладони. «Видишь, чего ты добился? — сказал этот жест. — Веди себя как жопа, и к тебе все будут относиться как к жопе». По-моему, наивысшее красноречие всегда безмолвно.

Душка поглядел на Скипа — тоже безмолвно. Потом он поглядел на меня. Его лицо ничего не выражало, выглядело почти мертвым, но я пожалел, что не пошел против себя, не подавил порыва сострить. Беда в том, что у прирожденного остряка порыв в девяти случаях из десяти срабатывает прежде, чем мозг успеет включить хотя бы первую скорость. Держу пари, что в старину, в дни благородных рыцарей, немало шутов висело вверх тормашками на своих яйцах. Об этом вы не прочтете в «Смерти Артура», но, думаю, было именно так — ну-ка, посмейся теперь, засранец в пестром колпаке! Но как бы то ни было, я понял, что нажил врага.

Душка сделал почти безупречный поворот кругом и маршевым шагом вышел из гостиной. Губы Ронни искривились в гримасе, которая сделала его уродливое лицо еще уродливее — ухмылка злодея в старинной мелодраме. Хью Бреннен робко хихикнул, но по-настоящему не засмеялся никто. Стоук Джонс исчез. Предположительно, проникшись брезгливостью ко всем нам.

Ронни поглядел по сторонам блестящими глазами.

— Вот так, — сказал он. — Я готов. Пять центов очко, кто хочет сыграть?

— Я сяду, — сказал Скип.

— И я, — сказал я, ни разу не взглянув на свой учебник по геологии.

— «Черви»? — спросил Кэрби Макклендон. Он был самым высоким на этаже, а может, и самым высоким в университете — шесть футов семь дюймов по меньшей мере, с лицом длинным и грустным, как морда бладхаунда. — Конечно. Хороший выбор.

— А мы? — пискнул Эшли.

— Мы? — сказал Хью.

Ну, кажется, напоролись как следует. И все мало.

— За этим столом вы не тянете, — сказал Ронни, для себя почти благожелательно. — Почему бы вам не подобрать свою компанию?

Эшли и Хью последовали его совету. К четырем часам все столы в гостиной были заняты квартетами первокурсников третьего этажа, неимущими стипендиатами, которым приходилось покупать старые учебники, и все они играли в «черви» по пять центов очко. Время безумия в нашем общежитии началось.

Глава 8

В субботу мне опять предстояло дежурить в посудомойной Холиуока. Несмотря на пробудившийся у меня интерес к Карел Гербер, я попытался поменяться дежурством с Брадом Уизерспуном (Брад обслуживал воскресные завтраки, а он ненавидел вставать рано, почти как Скип), но Брад не пожелал. Он тоже уже играл и продул два доллара. Так что только мотнул головой в мою сторону и пошел с пик.

— Ату Стерву! — закричал он до жути похоже на Ронни Мейлфанта. Самым вредным в Ронни было то, что скудоумные находили в нем объект для подражания.

Я встал из-за стола, за которым провел весь остаток дня, и мое место тут же занял юноша по имени Кении Остир. Я был в выигрыше без малого на девять долларов (главным образом потому, что Ронни почти сразу же пересел за другой стол, чтобы я не урезал его доход), и мне следовало бы радоваться. Но я никакой радости не ощущал. Дело ведь было не в деньгах, а в самой игре. Мне хотелось играть, и играть, и играть.

Я уныло поплелся по коридору, заглянул к себе в комнату и спросил Нага, не хочет ли он пообедать пораньше с кухонной бригадой. Он только покачал головой, а потом кивнул мне, так и не подняв головы от учебника истории. Когда начинаются разговоры об активности студентов в шестидесятых, я вынужден напоминать себе, что в большинстве ребята прожили этот сумасшедший период, как Нат эту минуту. Они не поднимали головы и не отрывали взгляда от своих учебников по истории, пока повсюду вокруг них история творилась вживе. И не то чтобы Нат был полностью отрешен или полностью проводил свое время в книгохранилищах далеко в стороне. Ну, вы узнаете.

Я пошел к Дворцу Прерий, задергивая молнию куртки, потому что заметно похолодало. Было четверть пятого. Столовая официально открывалась после пяти, так что дорожки, которые сливались в Этап Беннета, были практически безлюдны. Однако Стоук Джонс стоял там на костылях, угрюмо уставившись на что-то. Увидев его, я не удивился: если вы страдали каким-нибудь физическим недостатком, то имели право питаться на час раньше остальных студентов. Насколько помню, это была единственная привилегия, предоставлявшаяся физически неполноценным. Если вы физически подкачали, то должны были питаться с кухонной командой. Следок воробья у него на спине был в предвечернем свете очень четким и очень черным.

Приблизясь, я увидел, что он смотрит на «Введение в социологию». Он уронил книгу на истертые кирпичи и прикидывал, как поднять ее, не упав ничком. Он подталкивал книгу кончиком одного костыля. У Стоука было две пары костылей, если не три. Эти охватывали его руки по локоть стальными полукольцами, расположенными друг над другом. Я услышал, как он выдыхает «рви-РВИ, рви-РВИ», без толку передвигая «Социологию» с места на место. Когда он устремлялся вперед на костылях, в «рви-РВИ» была решимость. Но теперь в нем сквозило бессилие. Все время моего знакомства со Стоуком (я не стану называть его Рви-Рви, хотя к концу семестра многие подражатели Ронни называли его только так) меня поражало, какое число нюансов способно было выражать его «рви-РВИ». Это было до того, как я узнал, что на языке индейцев навахо есть сорок вариантов произношения слова «мертвый». Это было до того, как я узнал еще очень многое.

Он услышал мои шаги и повернул голову так резко, что чуть не упал. Я протянул руки поддержать его. Он откинулся, словно всколыхнувшись, в старой армейской шинели, которую носил.

— Отойди от меня! — Будто ждал, что я его толкну. Я повернул руки ладонями вперед, демонстрируя свою безвредность, и нагнулся. — Не трогай мою книгу!

С этим я не посчитался, подобрал учебник и сунул ему под мышку, точно свернутую газету.

— Мне твоя помощь не нужна!

Я хотел было огрызнуться, но снова заметил, как белы его щеки вокруг красных пятен в их центрах и как слиплись от нота его волосы. Я вновь ощутил его запах — запах перегревшегося трансформатора — и осознал, что к тому же слышу его — в груди у него хрипело и хлюпало. Если Стоук Джонс еще не знал дороги в амбулаторию, так должен был ее узнать в недалеком будущем.

— Господи, я же не предлагаю тащить тебя на закорках! — Я попытался налепить улыбку на свою физию, и у меня что-то более или менее получилось. Черт, а почему бы мне не улыбаться? Разве не лежат у меня в кармане девять баксов, которых утром там не было? По меркам третьего этажа Чемберлена я был богач.

Джонс обратил на меня свои темные глаза. Губы у него сжались в узкую полоску, но потом он кивнул.

— Ладно. Довод принят. Спасибо! — И он возобновил свой стремительный подъем по склону. Сначала он далеко меня обогнал, но затем крутизна начала сказываться на нем, и двигался он все медленнее и медленнее. Его хлюпающее дыхание стало громче и чаще, как я ясно услышал, когда поравнялся с ним.

— Может, тебе стоит напрягаться поменьше? — спросил я. Он бросил на меня досадливый взгляд — «Как, ты еще тут?».

— Может, тебе стоит меня съесть? Я указал на его «Социологию».

— Она сейчас опять выскользнет.

Он остановился, зажал учебник под мышкой ненадежнее, снова оперся на костыли, сгорбившись, как злобная цапля, сверкая на меня глазами сквозь спутанные пряди черных волос.

— Иди-иди, — сказал он. — Мне нянька не нужна. Я пожал плечами.

— Я за тобой не приглядывал. Просто надоело быть одному.

— А мне нет.

Я пошел дальше, злясь, несмотря на мои девять баксов. Мы, классные остряки, не обожаем заводить друзей — двух-трех нам хватает на всю жизнь, — но и не приходим в восторг, получив коленом под зад. Наша цель — обзаводиться множеством знакомых, с которыми можем расставаться, смеясь.

— Рили, — сказал он у меня за спиной. Я обернулся. Значит, все-таки решил немного оттаять, подумал я. И как ошибся!

— Есть жесты и жесты, — сказал он. — Вымазать бритвенным кремом дверь старосты — это только чуть-чуть выше, чем намазать сиденье парты Малютки Сьюзи соплями, потому что не сумел найти иного способа признаться ей в любви.

— Я не мазал кремом дверь Душки, — сказал я, озлясь еще больше.

— Угу. Но ты играешь в карты с жопой, который ее намазал. И тем самым придаешь ему убедительности, — По-моему, я в первый раз услышал такое применение этого слова, которое продолжало делать все более помоечную карьеру в семидесятых и в прококаиненных восьмидесятых. Главным образом в политике. Мне кажется, «убедительность» сгорела со стыда в 1986-м, как раз тогда, когда радикалы шестидесятых, маршировавшие против войны, бесстрашные борцы за расовое равенство, начали открывать для себя дутые акции, образ жизни Марты Стюарт, а также Стейр-Мастера. — Зачем ты даром тратишь время?

Такая прямолинейность меня ошарашила, и я, как понимаю теперь задним числом, сморозил невероятную глупость:

— А у меня уйма времени, чтобы тратить его даром.

Джонс кивнул, словно ничего другого и не ожидал. Он снова двинулся вперед и обогнал меня на своем обычном рывке — голова опущена, спина сгорблена, слипшиеся волосы мотаются, «Социология» крепко зажата под мышкой. Я остановился, ожидая, что она снова выпрыгнет на свободу. На этот раз пусть толкает ее костылем — я вмешиваться не стану.

Но она не выпрыгнула, а когда он добрался до двери Холиуока, поборолся с ней и наконец проковылял внутрь, я пошел своей дорогой. Набрав полный поднос, я сел рядом с Кэрол Гербер и остальной посудомоечной командой. То есть в максимальном удалении от Стоука Джонса, что вполне меня устраивало. Помню, он сел в стороне и от остальных физически неполноценных ребят. Стоук Джонс сидел в стороне от всех. Клинт Иствуд на костылях.

Глава 9

Обедающие начали собираться в пять. В четверть шестого посудомоечная команда работала уже вовсю, и так продолжалось час. Многие ребята из общежития отправлялись на субботу и воскресенье домой, но оставшиеся являлись в субботний вечер все, чтобы есть фасоль с сосисками и кукурузным хлебом. На десерт было «Джелло», излюбленный десерт Дворца Прерий. Если повар был в ударе, мы получали этот полуфабрикат с кусочками фруктов, застывшими в желе.

Кэрол занималась ножами, вилками, ложками, и едва горячка начала спадать, она вдруг, трясясь и пошатываясь от смеха, повернулась спиной к конвейеру. Щеки у нее стали ярко-пунцовыми. То, что плыло на нем, было работой Скипа. Попозже вечером он в этом признался, но я догадался сразу же. Хотя учился он на педагогическом отделении и, вероятнее всего, ему суждено было преподавать историю и тренировать бейсболистов в доброй старой и родной школе, пока в возрасте пятидесяти девяти лет или около того его не убил бы настоянный на алкоголе инфаркт, по праву Скип должен был бы заниматься искусством.., и, возможно, занялся бы, не происходи он от пяти поколений фермеров, которые изъяснялись на дремучем диалекте. Он был не то вторым, не то третьим в их разветвившейся семье (чьей религией, как-то сказал Скип, был ирландский алкоголизм), вообще поступившим в колледж. Клан Кирков мог — и то еле-еле — представить, что кто-то в их семье станет учителем, но никак уж не художником или скульптором. И в свои восемнадцать Скип видел не дальше них. Он знал только, что не совсем подогнан к отверстию, в которое пытался ввинтиться, и потому что-то не давало ему покоя, заставляло забредать в чужие комнаты, просматривать долгоиграющие пластинки и критиковать музыкальные вкусы практически всех.

К 1969 году он уже лучше понимал, кто он и что он такое. Именно в том году он сотворил из папье-маше вьетнамскую семью, которую подожгли в заключение митинга в защиту мира перед Фоглеровской библиотекой, пока из взятых взаймы усилителей неслось «Сплотимся», а хиппи в нерабочее время извивались в ритме, как первобытные воины после охоты. Видите, как все это перемешалось у меня в памяти? Это была Атлантида — вот единственное, что я знаю наверняка, — в самой глубине, на дне океана. Картонная семья горела, протестующие хиппи декламировали нараспев: «Напалм! Напалм! Дерьмо с небес!» в такт своей пляски и вскоре начали швырять — сначала яйца, потом камни.

Но в тот вечер осенью 1966 года не картонная семья заставила Кэрол залиться смехом, а непристойный человечек-колбаска, стоящий на Маттергорне из запеченной фасоли холиоукской столовой. Из надлежащего места лихо торчал ершик для чистки трубок, Ъ руке у него был флажок Университета штата Мэн, на голове — клочок голубого платка, сложенный в подобие шапочки первокурсника. На подносе перед ним красовался призыв, тщательно выложенный хлебными крошками:

«ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ МЭНСКОЙ ФАСОЛИ!»

Во время моего дежурства в посудомойной Дворца конвейер доставлял немало съедобных художественных произведений, но, по-моему, это был неоспоримый шедевр из шедевров. Стоук Джонс, несомненно, назвал бы его пустой тратой времени, но, мне кажется, тут он ошибся бы. Все, что способно заставить вас смеяться тридцать лет спустя, — не пустая трата времени. По-моему, это что-то очень близкое к бессмертию.

Глава 10

Я отметил уход, спустился по пандусу за кухней с последним пакетом мусора и бросил его в один из четырех мусоросборников, которые выстроились в ряд позади столовой, точно четыре куцых товарных вагона из стали.

Обернувшись, я увидел, что возле угла здания стоит Кэрол Гербер с парой ребят — они курили и смотрели на восходящую луну. Ребята ушли, когда я направился туда, вытаскивая пачку —«Пелл-Мелл» из кармана куртки.

— Эй, Пит, съешь еще мэнской фасоли, — сказала Кэрол и засмеялась.

— Угу. — Я закурил сигарету, а потом, не думая, не взвешивая, сказал:

— В Хоке сегодня крутят пару богартовских фильмов. Начало в семь. Мы как раз успеем. Хочешь пойти?

Она затянулась, не отвечая, но продолжала улыбаться, и я знал, что она скажет «да». Немного раньше я хотел только одного: вернуться в гостиную и сесть за «черви». Однако теперь, когда я был не там, игра больше не казалась такой уж увлекательной. Неужели я разгорячился до того, что обещал вышибить из Ронни Мейлфанта все сопли? Вроде бы да — я помнил это достаточно ясно, — но в вечерней прохладе рядом с Кэрол мне было трудно понять почему.

— У меня дома есть мальчик, — сказала она.

— Это что — «нет»?

Она покачала головой, все еще с легкой улыбкой. Дымок ее сигареты проплывал мимо се лица. Ее волосы без сетки, которую девушки обязательно надевали в посудомойной, чуть колыхались надо лбом.

— Это информация. Помнишь «Пленного»? «Номер Шестой, нам нужна.., информация».

— У меня есть девушка дома, — сказал я, — Тоже информация.

— У меня есть еще работа — репетирую по математике. Я обещала сегодня позаниматься часок с девушкой со второго этажа. Дифференциальное исчисление. Алгебра. Она безнадежна и хнычет, но это шесть долларов за час. — Кэрол засмеялась. — Ну вот! Мы обмениваемся информацией как одержимые.

— Но Боги это ничего хорошего не сулит, — сказал я, но был спокоен: я знал, что мы увидим Боги в этот вечер. По-моему, еще я знал, что в нашем будущем будут романтические отношения. И у меня возникло странное ощущение легкости, будто какая-то сила поднимала меня над землей.

— Я могла бы позвонить Эстер из Хока и перенести дифференцирование с девяти на десять, — сказала Кэрол. — Эстер — крайне тяжелый случай. Никогда никуда не ходит. Сидит почти все время в бигудях и пишет письма домой, как все в колледже трудно. Хотя бы первый фильм успеем посмотреть.

— Вот и хорошо, — сказал я.

Мы пошли в сторону Хока. Да, это были деньки! Не требовалось вызывать няню к детям, выпускать собаку, кормить кошку и включать сигнализацию. Вы просто шли, куда и когда хотели.

— Получается что-то вроде свидания? — спросила она немного погодя.

— Ну, — сказал я, — пожалуй.

Мы проходили мимо Восточного корпуса, и по дорожкам к клубу шли другие ребята.

— Отлично, — сказала она. — А то я ведь оставила сумочку у себя в комнате и не могу заплатить за себя.

— Не беспокойся. Я богач. Порядочно выиграл сегодня в карты.

— В покер?

— В «черви». Знаешь такую игру?

— Шутишь? Я провела три недели в лагере «Виннивинья» на озере Джордж в то лето, когда мне было двенадцать. Лагерь Ассоциации молодых христиан — лагерь для неимущих ребят, называла его моя мать. Чуть не каждый день лил дождь, и мы только дулись в «черви» и охотились на Стерву. — Ее глаза смотрели куда-то вдаль, как бывает, когда люди спотыкаются о какое-то воспоминание, будто на туфлю в темноте. — «Ищите женщину в черном». Cherchez la femme noire.

— Ну да, та самая, — сказал я, зная, что в эту минуту меня для нее тут нет. Затем она вернулась, улыбнулась мне и достала сигарету из кармана джинсов. Мы тогда много курили. Все мы. Тогда можно было курить в больничных приемных. Я рассказал про это моей дочери, и она сначала отказалась мне поверить.

Я тоже достал сигарету и дал огонька нам обоим. Такая хорошая минута; мы глядим друг на друга над язычком пламени «Зиппо». Не так чудесно, как поцелуй, но все равно хорошо. Я вновь ощутил ту же легкость, какую-то поднимающую меня силу. Иногда поле твоего зрения расширяется, и ты исполняешься надежды. Иногда кажется, будто ты способен видеть то, что за углом, — и, может, так оно и есть. Это хорошие минуты. Я захлопнул зажигалку, и мы пошли дальше, покуривая. Наши руки почти соприкасались — но почти.

— О каких деньгах мы говорим? — спросила она. — Достаточно, чтобы сбежать в Калифорнию, или все-таки поменьше?

— Девять долларов.

Она засмеялась и взяла мою руку.

— Значит, свидание, — сказала она. — Можешь купить мне попкорна.

— Идет. Тебе без разницы, какой фильм пойдет первым? Она кивнула.

— Боги — всегда Боги.

— Верно, — сказал я. — Но мне хотелось, чтобы первым был «Мальтийский сокол».

Так и оказалось. На половине, когда Питер Лорре откалывал свой довольно-таки зловещий веселый номер, а Боги глядел на него с вежливой, чуть насмешливой улыбкой, я посмотрел на Кэрол, Она смотрела на меня. Я нагнулся и поцеловал ее маслянистый от попкорна рот в черно-белом лунном свете первого вдохновенного фильма Джона Хьюстона. Губы у нее были нежными, отзывчивыми. Я чуточку отодвинулся. Она все еще смотрела на меня. Легкая улыбка вернулась. Тут она протянула мне свой пакетик с поп корном. Я предложил ей коробочку с леденцами, и мы досмотрели вторую половину фильма.

Глава 11

По дороге обратно в комплекс общежитии Чемберлен — Кинг — Франклин я взял ее за руку, как будто так и надо было. Она переплела пальцы с моими достаточно естественно, но мне почудилась некоторая скованность.

— Ты вернешься к «Мятежу на «Кейне»? — спросила она. — Если ты не потерял корешок билета, тебя пустят. А то возьми мой.

— Не-а. Мне нужно долбить геологию.

— На спор, будешь вместо этого всю ночь дуться в карты.

— Не могу себе этого позволить, — сказал я. И с полной искренностью. Я думал вернуться и засесть за учебник. Совершенно искренне.

— «Одинокие борения» или «Жизнь студента по займу», — сказала Кэрол. — Душенадрывающий роман Чарльза Диккенса. Вы будете рыдать, когда храбрый Питер Рили утопится в реке, узнав, что Служба финансовой помощи лишила его таковой.

Я засмеялся. Она была очень догадлива.

— Я ведь в том же положении. Если напортачим, то почему бы нам не устроить двойное самоубийство? Нырнем в Пеобскот, и прощай жестокий мир.

— А вообще-то, что девочка из Коннектикута делает в Университете Мэна? — спросил я.

— Ответить не так просто. И если ты вздумаешь пригласить меня еще раз куда-нибудь, учти, ты для меня дедушка. Собственно восемнадцать мне будет только в ноябре. Я перескочила седьмой класс. В том году мои родители развелись, и мне было очень скверно. Оставалось либо заниматься с утра до вечера, либо стать одной из харвичских старшеклассниц не уличном углу. Тех, которые получают высшие баллы за французские поцелуи и обычно беременеют в шестнадцать лет. Ты представляешь, о ком я?

— Само собой.

В Гейтсе вы видели их хихикающие стайки перед «Фонтаном Фрэнка» или «Сладкими Сливками» в ожидании появления мальчиков в их повидавших виды «фордах» и «плимутах-хеми» — скоростных машинах со щитками и налепленными на задние стекла надписями «ФРАМ» и «КВАКЕРСКИЙ ШТАТ» [Пенсильвания.] — или же могли видеть этих девочек уже женщинами в другом конце Главной улицы на десять лет старше, на сорок фунтов тяжелее за пивом и виски в «Таверне Чука».

— И я занималась с утра до вечера. Мой отец служил во флоте. Был уволен по инвалидности и переехал сюда, в Мэн.., в Дамарискотту, дальше по побережью.

Я кивнул, вспоминая жениха Дианы Рени — того, что сказал: «Так держать!» и пошел служить на фло-о-о-т...

— Я жила с матерью в Коннектикуте и училась в харвичской городской школе. Я подала заявление в шестнадцать разных колледжей, и меня приняли все, кроме трех.., но...

— Но они хотели, чтобы ты сама платила за обучение, а ты не могла.

Она кивнула.

— До лучших стипендий я не дотянула по отборочным тестам баллов на двадцать. Не помешали бы какие-нибудь спортивные достижения, но я слишком корпела над учебниками. И к тому времени я уже вовсю втюрилась в Салл-Джона.

— Твоего мальчика, верно?

Она кивнула, но так, словно этот Салл-Джон не очень ее интересовал.

— Реальное финансовое содействие предлагали только университеты Мэна и Коннектикута. Я выбрала Мэн, потому что к тому времени уже плохо ладила с матерью. Ссоры и ссоры.

— А с отцом ты лучше ладишь?

— Я его почти не вижу, — сказала она сухо и деловито. — Он живет с бабой, которая.., ну, они все время пьют и сцепляются друг с другом. И хватит об этом. Но он постоянный житель штата, я его дочь. Я не обеспечена всем, в чем нуждаюсь — откровенно говоря, Коннектикут предлагал условия получше, — но я не боюсь подрабатывать. Ради того, чтобы выбраться оттуда.

Она глубоко вдохнула вечерний воздух и выдохнула его белесой дымкой. Мы почти дошли до Франклина. В вестибюле в жестких пластмассовых креслах сидели парни, ожидая, когда их девочки спустятся к ним. Ну просто альбом со снимками преступников-рецидивистов! «Ради того, чтобы выбраться оттуда». Она подразумевала мать, городок, школу? Или это включало и ее мальчика?

Когда мы подошли к двойным дверям ее корпуса, я обнял ее и наклонился поцеловать. Она уперлась ладонями мне в грудь. Не попятилась, а просто остановила меня. И поглядела на меня снизу вверх со своей легкой улыбкой. Мне пришло в голову, что я того и гляди полюблю эту улыбку — можно проснуться посреди ночи, думая о такой улыбке. О голубых глазах и светлых волосах тоже, но главным образом об улыбке. Губы только чуть изгибались, но в уголках рта все равно появлялись ямочки.

— На самом деле моего мальчика зовут Джон Салливан, — сказала она. — Как боксера. А теперь скажи, как зовут твою девочку?

— Эннмари, — сказал я, и мне не слишком понравилось, как прозвучало ее имя. — Эннмари Сьюси, В этом году она кончает городскую школу Гейтс-Фоллса.

Я отпустил Кэрол, а она отняла ладони от моей груди и взяла меня за руки.

— Это информация, — сказала она. — Информация, и только. Все еще хочешь меня поцеловать?

Я кивнул. Да, я хотел, и даже сильнее, чем прежде.

— Ладно. — Она откинула лицо, закрыла глаза и чуточку приоткрыла губы. Совсем как девчушка, которая ждет у лестницы, чтобы папочка поцеловал ее перед сном. До того умилительно, что я чуть не засмеялся. Но вместо этого просто нагнулся и поцеловал се. Она поцеловала меня в ответ радостно и с жаром. Наши языки не соприкоснулись, но все равно поцелуй был ищущим, исчерпывающим. Когда она отодвинулась, щеки ее пылали, глаза блестели.

— Спокойной ночи. Спасибо за фильм.

— Хочешь повторить?

— Надо подумать, — сказала она. Она улыбалась, но глаза у нее были серьезными. Наверное, подумала о своем мальчике. Во всяком случае, я подумал об Эннмари. — Пожалуй, лучше уйди. Увидимся у конвейера в понедельник. Ты в какой смене?

— Обед и ужин.

— У меня завтрак и обед. Значит, до обеда.

— Ешь больше мэнской фасоли, — сказал я и рассмешил ее. Она вошла в дверь. Я провожал ее взглядом, подняв воротник и сунув руки в карманы, с сигаретой во рту, я ощущал себя почти Боги. Я смотрел, как она сказала что-то девушке за столом дежурной, а потом взбежала по лестнице, все еще смеясь.

Я пошел назад в Чемберлен в лунном свете, полный решимости взяться всерьез за геосинклиналью.

Глава 12

В гостиную третьего этажа я зашел просто, чтобы взять учебник. Клянусь! Когда я зашел туда, все столики — плюс парочка похищенных с других этажей — были заняты квартетами идиотов, дующихся в «черви». И даже в углу сидела на полу четверка, поджав ноги и пялясь в свои карты. Ну прямо обалделые йоги.

— Охотимся на Стерву! — завопил Ронни Мейлфант, ни к кому, собственно, не обращаясь. — Затравим Суку, ребята!

Я взял свой учебник геологии с дивана, где он пролежал весь день и вечер (кто-то успел посидеть на нем, вогнав между подушками, но подлюга был слишком большим, чтобы совсем утонуть между ними), и поглядел вокруг, как смотрят на нечто неизвестного назначения, В клубе рядом с Кэрол этот карточный ажиотаж казался чем-то из области снов. Теперь в область снов отодвинулась Кэрол — Кэрол с ее ямочками, с ее мальчиком, которого зовут, как боксера. В кармане у меня еще оставались шесть баксов, и нелепо было ощущать разочарование из-за того, что ни за одним столом для меня места не нашлось.

Мне надо было заниматься. Найти общий язык с геосинклиналью. Устроюсь в гостиной второго этажа или найду спокойный уголок в клубном зале полуподвала.

И именно в тот момент, когда я был уже почти у лестницы с моей «Исторической геологией» под мышкой, Кэрби Макклендол швырнул карты на стол с воплем:

— К черту! Со мной кончено! И все потому, что меня подлавливали на хренову даму пик! Я дам вам, ребята, векселя, но со мной, ей-богу, кончено! — Он проскочил мимо меня, не оглянувшись, пригнув голову под притолокой: мне всегда казалось, что высокий рост — это своего рода проклятие. Месяц спустя с Кэрби будет кончено куда более серьезно: перепуганные родители увезут его из университета после нервного срыва и хреновой попытки самоубийства. Не первая жертва червовой мании в ту осень и не последняя, но он был единственным, кто пытался покончить с собой, проглотив два флакончика детского аспирина с апельсиновым привкусом.

Ленни Дориа даже не посмотрел ему вслед. Он посмотрел на меня.

— Сядешь, Рили?

В моей душе произошла краткая, но вполне искренняя борьба. Мне надо было заниматься. Я намеревался заниматься, и для студента на финансовой помощи вроде меня это было здравое решение — во всяком случае, куда более здравое, чем остаться здесь в прокуренной комнате, добавляя к общему чаду дымок моих «пелл-меллок».

И я сказал: «А почему бы и нет?», сел и играл в «черви» почти до часа ночи. Когда наконец я приплелся в свою комнату, Нат лежал на кровати и читал Библию. Он всегда читал ее на сон грядущий, И это было, объяснил он мне, его третье путешествие по Слову Божьему, как он неизменно называл Библию. Он добрался уже до Книги Неемии. Нат посмотрел на меня невозмутимо спокойным взглядом — взглядом, который с тех пор почти не изменился. И раз уж я об этом, то и сам Нат с тех пор почти не изменился. Он намеревался стать стоматологом и стал им. В поздравительную открытку, которую я получил от него на прошлое Рождество, был вмонтирован снимок его новой приемной в Хултоне. На фото трое Царей склонялись над полными сена яслями посреди засыпанного снегом газона. Позади Марии и Иосифа виднелась дверь с табличкой:

— НАТАНИЕЛЬ ХОППЕНСТЕНД, Д. Д.». Он женился на Синди. Они все еще муж и жена, а трое их детей давно выросли. Ринти, полагаю, издохла и ей нашли преемницу.

— Ты выиграл? — спросил Нат почти тем же тоном, каким несколько лет спустя ко мне обращалась жена, когда по четвергам я возвращался домой полупьяный после вечера, проведенного за покером.

— Вот именно что выиграл.

Я причалил к столу, за которым играл Ронни, и потерял три из остававшихся у меня шести долларов, затем перекочевал за другой, где вернул их и добавил к ним еще парочку. Но я так и не добрался ни до геосинклинали, ни до тайн тектонических платформ.

На Нате была пижама в красно-белую полоску. По-моему, из тех, с кем я делил комнату в общежитии, он был единственным мужского или женского пола, кто носил пижаму. Разумеется, он, кроме того, был единственным владельцем пластинки «Диана Рени поет военно-морские блюзы». Когда я начал раздеваться, Нат скользнул под одеяло и протянул руку за спину, чтобы погасить настольную лампу.

— Ну как, изучил свою геологию? — спросил он, когда половина комнаты погрузилась в сумрак.

— С ней у меня все в порядке, — сказал я. Годы спустя, когда я возвращался домой поздно вечером после покера и моя жена спрашивала, сильно ли я пьян, я отвечал, что пропустил пару стопок — и только, точно таким же сухим тоном.

Я улегся в кровать, погасил свою лампу и почти сразу уснул. Мне снилось, что я играю в «черви». Сдавал Ронни Мейлфант; в дверях гостиной стоял Стоук Джонс, горбясь на костылях и вперяя в меня — вперяя в нас всех — неодобрительный взгляд пуританина, покинувшего грешную Англию в семнадцатом веке. В моем сне на столе лежала огромная куча денег — сотни долларов в скомканных пяти- и однодолларовых бумажках, аккредитивах и даже в личных чеках. Я посмотрел на них, потом снова на дверь. Теперь там с одного бока Стоука стояла Кэрол Гербер, а с другого — Нат в своей пижаме леденцовой расцветки.

— Нам нужна информация, — сказала Кэрол.

— Не получите! — ответил я. В телесериале Патрик Макгуэн всегда отвечал так Номеру Восьмому. Нат сказал:

— Ты оставил окно открытым. Пит. В комнате холодно, и твои бумаги разлетелись повсюду.

Найти ответа на это я не сумел, а потому взял сданные мне карты и развернул их веером. Тринадцать карт, и все до единой — дамы пик. Каждая — la femme noire. Каждая — Стерва.

Глава 13

Во Вьетнаме война шла хорошо — так сказал Линдон Джексон в поездке по югу Тихого океана. Однако имелись и некоторые мелкие неувязки. Вьетконговцы застрелили трех американских советников практически на задворках Сайгона; чуть подальше примерно одна тысяча вьетконговских солдат вышибла дерьмо из минимум вдвое большей по численности части регулярной южновьетнамской армии. В дельте Меконга канонерки США утопили сто двадцать вьетконговских речных катеров, в которых, как выяснилось, — о-о-о-ох! — везли в большом числе детей-беженцев. В этом октябре Америка потеряла в этой войне свой четырехсотый самолет — F-105 «Тандерчиф». Летчик благополучно парашютировал. В Маниле премьер-министр Южного Вьетнама Нгуен Као Ки утверждал категорически, что он неподкупен. Как и все члены его кабинета, а то, что с десяток их подали в отставку, пока Ки был на Филиппинах, — всего лишь совпадение.

В Сан-Диего Боб Хоуп выступил перед нашими парнями в форме. «Я хотел отправить с вами Бинга, — сказал Боб, — но этот чертов куряка демобилизовал свою повестку». Наши парни в форме взревели от хохота.

«? и Мистерианс» правили на радио. Их песня «96 слез» стала сокрушающим хитом. Единственным за всю их карьеру до и после.

В Гонолулу президента Джонсона приветствовали гавайские танцовщицы.

В ООН генеральный секретарь У Тан убеждал американского посла Артура Голдберга прекратить, хотя бы временно, бомбардировки Северного Вьетнама. Артур Голдберг связался с Великим Белым Отцом на Гавайях, чтобы передать ему просьбу У Тана. Великий Белый Отец, возможно, еще не снявший приветственную гирлянду, сказал, что никак невозможно: мы прекратим, когда Вьетконг прекратит, а до тех пор они будут лить 96 слез. По меньшей мере 96. (Джонсон коротко и неуклюже станцевал шимми с гавайскими танцовщицами: помню, как я увидел это в передаче Хантли-Бринкли и подумал, что танцует он, как все белые, каких я только знал.., а знал я, кстати, только белых.) Полиция прервала марш мира в Гринич-виллидж. Марш был без разрешения, объявила полиция. В Сан-Франциско маршировавшие против войны несли на палках пластмассовые черепа, выкрасив лица белилами, как мимы, и были разогнаны слезоточивым газом. В Денвере полицейские сорвали тысячи объявлений об антивоенном митинге в парке Чатогуа в Болдере. Полиция откопала статью закона, запрещающую такие объявления. Статья эта, заявил начальник полиции, не запрещает развешивать объявления о кинофильмах, распродажах старой одежды, танцевальных вечерах, устраиваемых ветеранами зарубежных войн, а также с обещанием вознаграждения нашедшим пропавшую собаку или кошку. Все эти объявления, объяснил начальник, не имеют отношения к политике.

В нашем маленьком городе была сидячая забастовка в Восточном корпусе, где представители «Коулмен кемикалс» вели собеседования относительно приема на работу в компании. «Коулмен», как и «Доу», производила напалм. Кроме того, «Коулмен», как оказалось, производила оранжевый дефолиант вкупе с возбудителями ботулизма и сибирской язвы, хотя никто об этом не знал, пока компания не обанкротилась в 1980 году. В университетской газете был помещен маленький снимок протестующих, когда их выводили вон. На снимке покрупнее полицейский из университетской охраны выволакивал за дверь Восточного корпуса одного протестующего, а другой полицейский нес костыли — протестующим, естественно, был Стоук Джонс в куртке со следком воробья на спине. Не сомневаюсь, что полицейские обошлись с ним бережно — в тот момент протестующие против войны все еще были новинкой, а не злостными нарушителями общественного порядка, — но все равно дюжий полицейский и обезноженный мальчик на снимке вызывали жутковатое ощущение. Я много раз вспоминал этот снимок между 1967 и 1971 годами, когда, говоря словами Боба Дилана, «игра стала грубой». Самый крупный снимок в этом номере, единственный во всю ширину страницы, запечатлел членов РОТС в форме, марширующих по залитому солнцем футбольному полю перед многочисленными зрителями. «УЧЕНЬЯ СОБРАЛИ РЕКОРДНУЮ ТОЛПУ» — гласила подпись.

И уже ближе к дому некий Питер Риди получил D за контрольную по геометрии и D с плюсом по социологии два дня спустя. В пятницу я получил назад «эссе с обоснованием точки зрения», которое нацарапал прямо перед сдачей утром в понедельник. Тема была — «Следует (не следует) требовать, чтобы мужчины посещали рестораны обязательно в галстуках». Я выбрал «не следует». Это маленькое упражнение в логических построениях было помечено большим красным С, первым С, которое я получил по литературе в университете с того момента, когда прибыл туда с моими твердыми школьными А за нее и 740 очками за отборочный тест. Эта красная закорючка потрясла меня куда больше двух D за контрольные, а кроме того, разъярила. Сверху мистер Бэбкок написал: «Налицо ваша обычная четкость, но в данном случае она только яснее показывает, какая это безмясная пища. Ваш юмор, хотя и боек, далеко не дотягивает до остроумия. С, в сущности, подарок. Очень небрежная работа».

Я решил было подойти к нему после конца занятий, но потом передумал. Мистер Бэбкок, носивший галстук-бабочку и большие очки в черепаховой оправе, в течение первых четырех недель дал абсолютно ясно понять, что считает тех, кто вымаливает оценки, последними подонками академической жизни... К тому же был полдень. Если я быстро перекушу во Дворце Прерий, то вернусь на третий этаж Чемберлена еще до часа, К трем часам все столики в гостиной (и все четыре ее угла) будут заняты. Но в час место для меня найдется. К этому времени мой общий выигрыш составлял почти двадцать долларов, и я планировал провести доходный уик-энд на исходе октября, чтобы побольше набить карманы. Кроме того, я планировал пойти в субботу вечером на танцы в гимнастическом зале «Ленджилл». Кэрол согласилась пойти со мной. Там играли «Кэмберленды», популярная студенческая группа, Рано или поздно (но скорее и рано, и поздно) они сыграют свой вариант «96 слез».

Голос совести, уже обретший интонации Ната Хоппснстенда, указал, что мне следовало хотя бы часть субботы и воскресенья посвятить учебникам. Мне надо было прочесть две главы по геологии, две главы по социологии и сорок страниц истории (средневековье одним махом), а кроме того, ответить на ряд вопросов относительно торговых путей.

«Да займусь я всем этим, не беспокойся! Сказано, займусь, — сообщил я голосу, — Воскресенье — мой день для занятий. Можешь положиться на это. Хоть в банк положи». И действительно, в воскресенье я некоторое время читал о круге лиц с общими интересами, о круге лиц с разными интересами и о групповых санкциях. Читал я о них между сдачами. Затем игра стала интереснее, и моя «Социология» оказалась на полу под диваном. Ложась спать в воскресенье — поздно ночью в воскресенье, — я вдруг подумал, что не только мой выигрыш уменьшился, вместо того чтобы возрасти (Ронни теперь словно бы специально старался оказаться со мной за одним столиком), но и что я не слишком продвинулся в своих занятиях. А кроме того, не сделал одного телефонного звонка.

«Если ты действительно хочешь засунуть туда свою руку, — сказала Кэрол, и она улыбнулась этой своей особой улыбкой, легкой улыбкой, состоящей в основном из ямочек и выражения глаз, — Если ты действительно хочешь засунуть туда свою руку».

Во время субботних танцев мы с ней вышли покурить. Вечер был теплый, и под северной кирпичной стеной «Ленджилла» при свете луны, восходящей над Чэдбурн-Холлом, обнимались и целовались не меньше двадцати пар. Кэрол и я присоединились к ним. И вскоре моя рука была уже под ее свитером. Я потер большим пальцем гладкую материю чашечки ее бюстгальтера, ощутил твердый бугорок ее соска, чуть-чуть поднявшийся. Поднималась и моя температура. И ее тоже, как я почувствовал. Она посмотрела мне в лицо, все еще замыкая руки на моей шее, и сказала: «Если ты действительно хочешь засунуть туда свою руку, мне кажется, ты обязан кое-кому позвонить, ведь верно?»

— У меня есть время, — сказал я себе, засыпая. — Уйма времени, чтобы позаниматься, уйма времени, чтобы позвонить. Уйма времени.

Глава 14

Скип Кирк провалил контрольную по антропологии — на половину вопросов отвечал наугад и получил пятьдесят восемь. Он получил С с минусом за контрольную повышенной трудности по дифференциальному исчислению, но и настолько вытянул только потому, что в старшем классе школы они частично это проходили. Мы вместе слушали социологию, и он получил за контрольную D с минусом, еле натянув на семьдесят.

Подобное происходило не только с нами. Ронни, счастливчик в «червях» — больше пятидесяти баксов за десять дней игры, если ему поверить (только никто не верил, хотя мы и знали, что он выигрывает), был полным неудачником в учебе. Он провалил французский, а также эссе о галстуках — мы занимались в одном семинаре («Клал я на галстуки, я ем в «Мак-доналдсе», — сказал он) — и кое-как вытянул историю (ее мы слушали у разных преподавателей), успев перед самыми занятиями просмотреть записи кого-то из своих поклонников.

Кэрби Макклендон перестал бриться и начал грызть ногти между сдачами. И еще он начал заметно прогуливать занятия. Джек Фрейди убедил своего консультанта освободить его от статистики, хотя официально срок таких освобождений истек.

— Я пустил слезу, — сообщил он мне между прочим, когда мы в гостиной охотились на Стерву до глубокой ночи. — Научился этому в драматическом клубе.

Через пару ночей ко мне постучался Ленни Дориа, когда я зубрил (Нат уже час как вырубился и спал сном праведных без академических задолженностей), и спросил, не напишу ли я работу про Криспа Аттика. Он слышал, что я это умею. Он заплатит честную цену, сказал Ленни, он сейчас в выигрыше на десять баксов. Я сказал, что, к сожалению, не могу; я сам отстаю на пару работ. Ленни кивнул и тихонько вышел.

У Эшли Раиса на лице высыпали гноящиеся прыщи. Марк Сент-Пьер начал ходить во сне, после того как за один катастрофический вечер проиграл почти двадцать баксов, а Брад Уизерспун подрался с парнем с первого этажа. Парень отпустил безобидную шуточку — позднее Брад сам признал, что она была совсем безобидной, — но Брад, который только что получил Стерву в трех партиях из четырех и жаждал промочить пересохшее горло кока-колой из автомата на первом этаже, был отнюдь не в безобидном настроении. Он обернулся, уронил невскрытый стаканчик с кокой в урну для окурков, оказавшуюся под рукой, и заработал кулаками. Разбил парню очки, расшатал ему зуб. Вот так Брад Уизерспун, обычно не более опасный, чем мимеограф в библиотеке, стал первым из нас, получившим дисциплинарное взыскание.

Я подумывал о том, чтобы позвонить Эннмари и сказать ей, что я познакомился с одной девушкой и провожу с ней вечера, но это казалось такой трудной задачей, такой психологической нагрузкой вдобавок ко всему прочему! Я предпочел возложить надежду на то, что от нее придет письмо, в котором она сообщит мне, что нам пора начать встречаться с кем-нибудь еще. А вместо этого она написала, как ей меня не хватает и что она готовит мне на Рождество «особенный подарок». Вероятнее всего, свитер с северным оленем. Свитера с северными оленями были специальностью Эннмари (как и медленные поглаживания). Она вложила свою фотографию в короткой юбке. Но, глядя на фотографию, я почувствовал себя не возбужденным, а усталым, виноватым и принуждаемым к чему-то. Кэрол тоже меня как будто принуждала. Мне хотелось пощупать ее и только, а не менять всю мою хренову жизнь. Да и ее жизнь, если на то пошло. Но она мне нравилась, правда нравилась. И очень. И эта ее улыбка, и остроумие. «Все лучше и лучше, — сказала она, — мы обмениваемся информацией как одержимые».

Примерно через неделю я вернулся из Холиуока, где работал с ней на конвейере в обеденную смену, и увидел, что по коридору третьего этажа медленно идет Фрэнк Стюарт, вяло держа в руках чемодан. Фрэнк был с запада Мэна, из одного из тех городков, которые практически состоят сплошь из деревьев, и его произношение выдавало в нем потомственного янки. В «черви» он играл так-сяк, обычно оставаясь вторым или еле-еле третьим, когда кто-нибудь еще набирал сто очков, но он был очень симпатичным парнем. Всегда улыбался — во всяком случае, до этого дня, когда я встретил его, бредущего к лестнице с чемоданом.

— Меняешь комнату, Фрэнк? — спросил я, хотя, по-моему, уже сам понял все. Его лицо — такое серьезное, бледное, унылое.

Он покачал головой.

— Еду домой. Получил письмо от матери. Она пишет, что на большом озерном курорте, совсем близко от нас, нужен сторож. Я ответил: само собой. Я ж здесь только время зря трачу.

— Да нет же! — сказал я в некотором ошеломлении. — Черт, Фрэнки, ты же получаешь университетское образование.

— В том-то и дело, что нет. — В коридоре стоял сумрак, наполненный тенями. Снаружи лил дождь. Но все равно я, по-моему, разглядел краску, залившую щеки Фрэнка. По-моему, его душил стыд. По-моему, потому он и решил уехать в будний день, когда общежития пустели. — Я только в карты играл, и все. Да и то плохо. И я отстал по всем предметам.

— Подумаешь! Совсем ведь ненамного. И сейчас же только двадцать пятое октября. Фрэнк кивнул:

— Знаю. Только я не умею соображать быстро, как некоторые. И в школе было то же. Мне надо хорошенько упереться ногами и вгрызаться, вгрызаться, будто дрелью, в лед. А я этого не делал, а если не просверлить лунку во льду, окуня не поймаешь. Я уезжаю, Пит. Сам, пока меня не исключат в январе.

И он побрел дальше, спустился по первому из трех маршей, держа чемодан перед собой. Его белая майка смутно покачивалась в сумраке, а когда он прошел под окном, по которому струилась дождевая вода, ежик его волос замерцал золотом.

Когда он спустился на площадку второго этажа и его шаги обрели эхо, я кинулся к лестнице и посмотрел в пролет.

— Фрэнки! Э-эй, Фрэнки!

Шаги замерли. Среди теней я различил его круглое лицо, повернутое ко мне, и смутный абрис чемодана.

— Фрэнк, а призыв? Если ты бросишь университет, тебя же призовут!

Долгая пауза, словно он обдумывал ответ. Но так и не ответил. То есть голосом. Он ответил ногами. Вновь зазвучали его шаги, отдаваясь эхом. Больше я никогда Фрэнка не видел.

Помню, как я стоял у лестничного пролета, перепуганный, и думал: «Это может произойти и со мной.., или уже происходит». А потом отогнал непрошеную мысль.

Фрэнк и его чемодан были предостережением, решил я, и я его учту. Возьму себя в руки. До сих пор я плыл по течению, и пришла пора включать двигатель. Но по коридору пронесся ликующий крик Ронни — он охотится на Стерву, он выгонит блядь из кустов, и я решил, что лучше начать с вечера. Вечером будет достаточно времени, чтобы разогреть сказочный двигатель. А днем я сыграю прощальную партию в «черви». Или две. Или сорок.

Глава 15

Прошли годы, прежде чем я выделил ключевую часть моего разговора с Фрэнком Стюартом. Я сказал ему, что он не мог отстать намного за такой короткий срок, а он ответил, что не умеет быстро соображать, вот в чем причина. Мы оба ошибались. Вполне возможно катастрофически отстать за очень короткий срок, и не только зубрилам, но и таким сообразительным любителям нахрапа, как я, и Скип, и Марк Сент-Пьер. Подсознательно мы цеплялись за уверенность, что можем побездельничать, а затем наверстать все спуртом, как вошло у большинства из нас в привычку в школах наших сонных городков. Но, как указал Душка Душборн, это была не школа.

Я уже сказал вам, что из тридцати двух студентов, которые начали занятия на нашем этаже Чемберлена (тридцать три, если присчитать Душку.., но он оказался недоступен чарам «червей»), к началу весеннего семестра осталось только пятнадцать. Из этого вовсе не следует, что восемнадцать ушедших все были дураками, вовсе нет. Собственно говоря, самыми умными на третьем этаже Чемберлена осенью 1966 года были, вероятно, те, кто перевелся оттуда до того, как исключение стало реальностью. Стив Огг и Джек Фрейд, занимавшие комнату сразу за моей с Натом, перебрались в Чэдбурн в первую неделю ноября, сославшись в их общем заявлении на «отвлечения». Когда секретарь отдела, заведовавшего общежитиями, спросил, что это были за отвлечения, они ответили; обычные — веселье всю ночь напролет, ловушки с зубной пастой в туалете, натянутые отношения с парой соседей. Потом, будто припомнив, оба добавили, что, пожалуй, слишком долго засиживались за картами в гостиной. Они слышали, что обстановка в Чэде поспокойней, его ведь считают одним из двух-трех «общежитии умников».

Вопрос секретаря они предвидели, ответ был отрепетирован тщательнее любого устного доклада на занятиях риторикой. Ни Стив, ни Джек не хотели, чтобы почти бесконечная игра в «черви» была прекращена. Ведь это навлекло бы на них всякие неприятности со стороны тех, кто верит, что нечего совать нос в чужие дела. Они хотели, хрен, только одного: выбраться из Чемберлена, пока еще оставалось время спасти свои стипендии,

Глава 16

Проваленные контрольные и неудачные эссе были всего лишь неприятным прологом. Для Скипа, меня и слишком большого числа наших карточных партнеров второй раунд зачетов оказался полнейшей катастрофой. Я получил А с минусом за классное сочинение на заданную тему и D за европейскую историю, но провалил социологию и геологию — первую только чуть не дотянув до проходного числа ответов, а вторую очень и очень не дотянув. Скип провалил антропологию, колониальную историю и социологию. За дифференциальное исчисление он получил С (но и там лед грозил вот-вот проломиться, признался он мне) и В за эссе. Мы согласились, что жизнь была бы много проще, если бы все сводилось к эссе, которые писались на занятиях и, следовательно, вдали от гостиной третьего этажа. Иными словами, мы бессознательно хотели бы вернуться в школу.

— Ладно, хватит, — сказал мне Скип вечером в ту пятницу. — Я поджимаю хвост, Пит. Клал я на то, чтобы учиться в университете, и на диплом, чтобы повесить его на стенку над камином, но хрен, если я хочу вернуться в Декстер и болтаться в хреновом кегельбане с остальными дебилами, пока Дядя Сэм меня не затребует.

Он сидел на кровати Ната. Нат во Дворце Прерий кушал пятничную рыбу. Было приятно знать, что у кого-то на третьем этаже Чемберлена сохранился аппетит. При Нате мы бы такой разговор ни в коем случае не завели. Мой сосед, деревенская мышь, считал, что последние зачеты сдал очень даже недурно — только С и В. Он бы ничего не сказал, если бы слышал нас, но поглядел бы на нас взглядом, яснее всяких слов объяснившим бы, что мы слабаки. Что, пусть это и не наша вина, мы оказались морально неустойчивыми.

— Я с тобой, — сказал я, и тут из коридора донесся исступленный вопль («0-о-о-о-ох.., чтоб мне!»), который оповестил нас, что кому-то всучили Стерву. Наши взгляды встретились. Не знаю, как Скип (хотя он был моим лучшим другом в университете), но я по-прежнему считал, что время еще есть.., и почему бы мне так не думать? Ведь у меня оно всегда было.

Скип начал расплываться в ухмылке, я начал расплываться в ухмылке. Скип захихикал. Я захихикал вместе с ним.

— Какого хрена, — сказал он.

— Всего один вечер, — сказал я. — А завтра вместе закатимся в библиотеку.

— Засядем за книги.

— До самого вечера. А сейчас... Он встал.

— Пойдем поохотимся на Стерву.

И мы пошли. И не только мы. Я знаю, объяснения нет, но было именно так.

Утром во время завтрака, когда мы стояли рядом у конвейера, Кэрол сказала:

— Говорят, у вас в общежитии идет карточная игра по-крупному? Это так?

— Вроде бы, — сказал я.

Она поглядела на меня через плечо с той самой улыбкой — той, которую я всегда вспоминал, когда думал о Кэрол. Вспоминаю и теперь.

— «Черви»? Охота на Стерву?

— «Черви», — согласился я. — Охота на Стерву.

— Я слышала, что некоторые ребята совсем очумели и у них неприятности с оценками.

— Да, пожалуй, — сказал я. На конвейере ничего не было, ни единого подноса. Я не раз замечал, что аврала никогда не бывает, когда он нужен.

— А как у тебя? — спросила она. — Я знаю, это не мое дело, но мне...

— Нужна информация. Ну да, я знаю. У меня все в порядке, а кроме того, я бросаю играть.

Она ограничилась той улыбкой, и, да, правда, я все еще иногда вспоминаю эту улыбку. Как и вы вспоминали бы на моем месте. Ямочки, чуть изогнутая нижняя губа, знавшая так много о поцелуях, веселые искры в голубых глазах. Это были дни, когда девушки не входили в мужское общежитие дальше вестибюля.., и, естественно, наоборот. Тем не менее мне кажется, что в октябре и ноябре 1966 года Кэрол видела очень много, гораздо больше, чем я. Но, конечно, она не была сумасшедшей — по крайней мере тогда. Ее безумием стала война во Вьетнаме. Да и моим тоже. И Скипа. И Ната. «Черви» были, по сути, ерундой, легонькими подземными толчками — такими, от которых хлопают двери на верандах и дребезжит посуда на полках. Землетрясение — убийца, апокалиптический сокрушитель континентов, оно еще только приближалось.

Глава 17

Барри Маржо и Брад Уизерспун оба выписывали «Дерри ньюс» с доставкой в их комнаты, и эти два экземпляра к концу дня успевали обойти весь третий этаж — мы обнаруживали их останки в гостиной, когда садились вечером за «черви»: вырванные, перемешанные страницы, кроссворды, заполненные тремя-четырьмя разными почерками. Чернильные усы на сфотографированных лицах Линдона Джонса, и Рамсея Кларка, и Мартина Лютера Кинга (кто-то — я так и не узнал кто — неизменно пририсовывал массивные дымящиеся рога вице-президенту Хамфри, а внизу крохотными анальными буковками подписывал: «дьявол Губерт»). В отношении войны «Ньюс» занимала ястребиную позицию, ежедневно представляя военные события в самом благоприятном свете, а сообщения о протестах помещала на самом незаметном месте.., обычно под календарным разделом.

Однако пока тасовались и сдавались карты, мы все чаще и чаще говорили не о фильмах, девочках и контрольных — их место все больше и больше занимал Вьетнам. Как ни хороши были новости, как ни высок счет потерь вьетконговцев, всегда был хотя бы один снимок агонизирующих солдат США, попавших в засаду, или вьетнамских детей в слезах, следящих, как их деревня исчезает в дыму и огне. И всегда была какая-нибудь жгучая подробность, упрятанная в самом низу того, что Скип называл «ежедневной колонкой убийств», вроде сообщения о ребятишках, которые погибли, когда мы ударили по вьет-конговским катерам в дельте Меконга.

Нат, само собой, в карты не играл. И не обсуждал все «за» и «против» войны — думаю, он не больше меня знал про то, что Вьетнам прежде был французской колонией или что приключилось с мусью, которые, себе на беду, оказались в 1954 году в укрепленном городе Дьенбьенфу, не говоря уж о том, кто мог решить, что президенту Дьему пришла пора вознестись в большое рисовое поле на небесах, чтобы власть могли взять Нгуен Сао Ки и генералы. Нат знал только, что у него никаких счетов с этими конговцами нет и что в ближайшем будущем они до Марс-Хилла или острова Преск не доберутся.

— Ты что, говнюк, никогда не слышал про принцип домино? — однажды спросил у Ната коротышка первокурсник по имени Никлас Праути. Мой сосед теперь редко заходил в гостиную третьего этажа, предпочитая более тихую на втором, не на этот раз он заглянул к нам на пару минут.

Нат посмотрел на Ника Праути, сына ловца омаров, преданного ученика Ронни Мейлфанта, и вздохнул.

— Когда на столе появляются костяшки домино, я ухожу. По-моему, это нудная игра. Вот мой принцип домино.

Он взглянул на меня, и как ни стремительно отвел я глаза, смысл этого взгляда мне был ясен: «Да что с тобой, черт подери?» Затем Нат прошаркал в мохнатых шлепанцах назад в комнату 302, чтобы еще позаниматься, последовательно пролагая путь к диплому стоматолога.

— Рили, твой сосед облажался, а? — сказал Ронни. Уголком губ он зажимал сигарету. Теперь он одной рукой зажег спичку — его особый талант (студенты, слишком грубые и непривлекательные внешне, чтобы нравиться девушкам, обзаводятся всяческими талантами) — и закурил.

«Нет, — подумал я. — У Ната все в порядке. А облажались мы».

На секунду я ощутил подлинное отчаяние, В эту секунду я понял, что страшно вляпался и понятия не имею о том, как выбраться из трясины. Я сознавал, что Скип смотрит на меня, и мне пришло в голову, что, схвати я карты, швырни их в лицо Ронни и выскочи из гостиной, Скип последовал бы за мной. И, наверное, с облегчением. Но это чувство тут же исчезло. Так же мгновенно, как и возникло.

— Нат хороший парень, — сказал я. — У него есть завиральные идеи, но и только.

— Завиральные КОММУНИСТИЧЕСКИЕ идеи, вот какие, — сказал Хью Бреннен. Его старший брат служил на флоте, и последнее письмо от него пришло из Южно-Китайского моря. Хью не терпел мирников. Как республиканцу и стороннику Голдуотера, мне следовало бы чувствовать то же самое, однако Нат начал немножко меня пронимать. У меня было много всяких заимствованных сведений, но доводами в пользу войны я не располагал.., и у меня не хватало времени подобрать их. Не хватало, чтобы заняться социологией, а уж тем более на препирательства об иностранной политике США.

Я практически уверен, что именно в этот вечер я чуть было не позвонил Эннмари Сьюси. Телефонная будка напротив двери гостиной была пуста, карман мне оттягивала мелочь — плод моей недавней победы в «червях», и я внезапно решил, что Время Настало. Я набрал ее номер по памяти (хотя на секунду задумался, вспоминая последние четыре цифры — 8146 или 8164, — и бросил в щелку три четвертака, когда телефонистка потребовала заплатить за соединение. Услышал один гудок и бросил трубку на рычаг, услышал, как мои монеты скатились к дверце возврата, и забрал их.

Глава 18

Дня два спустя — незадолго до Дня Всех Святых — Нат купил пластинку певца, про которого я вроде бы что-то слышал, но и только. Фила Окса. Народные, но не под блям-блям-блям банджо. Конверт пластинки с растрепанным трубадуром, сидящим на краю тротуара в Нью-Йорке, как-то не сочетался с другими конвертами пластинок на полке Ната — Дин Мартин в смокинге и слегка пьяный на вид, Митч Миллер с его улыбкой, приглашающий спеть с ним, Диана Рени в миди-блузке и задорной матросской шапочке. Пластинка Окса называлась «Больше я не марширую», и Нат часто ее ставил, когда дни стали заметно короче и холоднее. Да я и сам ее часто ставил, благо Нат, казалось, ничего против не имел.

В голосе Окса звучал гнев перед своим бессилием. Полагаю, мне это нравилось, потому что я ощущал себя бессильным. Он походил на Дилана, но был менее сложен и более определенен в своей ярости. Лучшая песня на пластинке — и также наиболее тревожащая — была титульная. В этой песне Оке не просто подсказывал, но в открытую заявлял, что война того не стоит, война никогда того не стоит. Подобная мысль в соединении с образом молодых ребят, которые тысячами и десятками тысяч просто уходят от Линдона и его вьетнамской мании, взбудоражила меня, и чувство это не имело никакого отношения ни к истории, ни к политике, ни к логическому мышлению. Людей я убил миллионов пять, теперь меня в бой они гонят опять, но больше я не марширую, — пел Фил Оке через усилитель маленького «Свинглайна» Ната. Иными словами, просто хватит. Хватит делать то, что они говорят, хватит делать то, чего они хотят, хватит играть в их игру. Очень старую игру, и в ней Стерва охотится на тебя, И может быть, чтобы доказать серьезность своего решения, ты начинаешь носить символ своего сопротивления — что-то, что сначала вызывает у других удивление, а потом и желание примкнуть. Через пару дней после Дня Всех Святых Нат Хоппенстенд показал нам, каким будет этот символ. А начало положила одна из смятых газет, брошенных в гостиной третьего этажа.

Глава 19

— О черт! Вы только поглядите! — сказал Билли Марчант. Харви Туилли тасовал колоду за столом Билли, Ленни Дориа подсчитывал очки, и Билли воспользовался случаем быстренько просмотреть местные новости в «Ньюс», Кэрби Макклендон — небритый, высокий, весь дергающийся, уже готовый к свиданию со всеми этими детскими аспириновыми таблетками — наклонился, чтобы заглянуть в газету. Билли отпрянул и помахал рукой перед своим лицом.

— Черт, Кэрб, когда ты в последний раз принимал душ? В День Колумба [12 октября.]? Четвертого июля?

— Дай посмотреть, — сказал Кэрби, пропуская его слова мимо ушей, и выхватил газету. — Бля, это же Рви-Рви!

Ронни Мейлфант вскочил так стремительно, что опрокинул свой стул, завороженный мыслью, что Стоук попал в газету. Если на страницах «Дерри ньюс» (естественно, кроме спортивных) фигурировали студенты, это всегда означало, что они во что-то вляпались. Вокруг Кэрби собрались и другие — мы со Скипом в их числе. Да, это был Стоукли Джонс III, но не только он. На заднем плане среди лиц, почти — но не совсем — распавшихся на точки...

— Черт, это же Нат! — сказал Скип с насмешливым изумлением.

— А прямо перед ним Кэрол Гербер, — сказал я странным растерянным голосом. Я узнал курточку с «ХАРВИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА» на спине; узнал светлые волосы, падающие «конским хвостом» на воротник курточки; узнал линялые джинсы. И я узнал лицо. Даже почти отвернутое и затененное плакатом «США, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА ТЕПЕРЬ ЖЕ!», я узнал это лицо. — Моя девушка.

В первый раз я произнес «моя девушка» рядом с именем Кэрол, хотя думал о ней так уже пару недель.

«ПОЛИЦИЯ РАЗГОНЯЕТ МИТИНГ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРИЗЫВА» — гласила подпись под снимком. Из сопровождавшей его заметки следовало, что в деловом центре Дерри перед зданием федерального управления собралось десятка полтора протестующих студентов Университета Мэна. Они держали плакаты и около часа маршировали взад-вперед перед входом в отдел службы призыва, распевая песни и «выкрикивая лозунги, часто непристойные». Была вызвана полиция, и вначале полицейские просто стояли в стороне, ожидая, чтобы демонстрация закончилась сама собой, но затем появилась группа демонстрантов, придерживающихся других убеждений и состоявшая в основном из строительных рабочих, воспользовавшихся перерывом на обед. Они начали выкрикивать собственные лозунги, и хотя «Ньюс» не упомянула, были ли их лозунги непристойными, я догадывался, что это были приглашения уехать назад в Россию, рекомендации, где демонстрантам-студентам следует хранить свои плакаты, и рекомендации посетить парикмахерскую.

Когда протестующие начали кричать на строительных рабочих, а строительные рабочие начали швырять в протестующих огрызки фруктов из своих обеденных бидончиков, вмешалась полиция. Указывая на отсутствие разрешения (легавые в Дерри, видимо, никогда не слышали о праве американцев собираться в мирных целях), они окружили ребят и доставили их в участок на Уичем-стрит. Там их сразу отпустили. «Мы просто хотели оградить их от неприятной ситуации, — процитировал репортер слова одного полицейского. — Если они вернутся туда, так, значит, они даже дурее, чем кажутся».

Фото, в сущности, мало отличалось от снятого у Восточного корпуса во время демонстрации против «Коулмен кемикалс». И на этом снимке полицейские уводили студентов, а строительные рабочие (год спустя им будет разрешено прикреплять к каскам миниатюрные американские флажки) ухмылялись, издевательски жестикулировали и грозили кулаками. Один полицейский был запечатлен в тот момент, когда он готовился ухватить Кэрол за плечо; стоящий позади нее Нат, видимо, не привлек их внимания. Двое полицейских уводили Стоука Джонса — он был спиной к камере, но в костылях ошибиться было нельзя, А если для опознания требовалось еще что-то, то вполне было достаточно нарисованного от руки следка воробья на спине его шинели.

— Поглядите-ка на этого мудака безмозглого! — прокукарекал Ронни (Ронни, заваливший два из четырех последних зачетов, конечно, имел право обзывать других безмозглыми мудаками). — Будто не мог найти занятия поинтересней.

Скип пропустил его слова мимо ушей. Как и я. На нас фанфаронство Ронни перестало производить впечатление, на какую бы тему он ни распространялся. Нас заворожила Кэрол.., и Нат Хоппенстенд позади нее, глядящий, как полицейские уводят демонстрантов. Нат, такой же аккуратный, как всегда, в гарвардской рубашке, в джинсах с отворотами и острыми складками. Нат, стоящий совсем близко от ухмыляющихся, грозящих кулаками строительных рабочих, но абсолютно ими игнорируемый. Игнорируемый и полицейскими. Ни те ни другие не знали, что мой сосед по комнате недавно стал поклонником крамольного мистера Фила Окса.

Я ускользнул к телефонной будке и позвонил на второй этаж Франклин-Холла. Кто-то в их гостиной снял трубку, а когда я попросил Кэрол, девушка сказала, что Кэрол там нет — она пошла в библиотеку заниматься с Либби Секстон.

— Это ведь Пит?

— Угу, — сказал я.

— Тебе записка. Она прилепила ее к стеклу. — (Обычай в общежитиях того времени.) — Пишет, что позвонит тебе попозже.

— Ладно. Спасибо.

Скип перед телефонной будкой нетерпеливо махал мне. И мы пошли по коридору повидать Нага, хотя и знали, что потеряем места за карточными столами. Однако на этот раз любопытство возобладало над манией.

Когда мы показали Нату газету и начали расспрашивать про вчерашнюю демонстрацию, выражение его лица почти не изменилось, но все равно я почувствовал, что ему не по себе, а может быть, и очень скверно. Но почему? Все ведь как-никак кончилось хорошо: никто не был арестован, а в газете ни единой фамилии.

Я уже решил, что слишком вольно истолковал его обычную невозмутимость, но тут Скип спросил:

— Чего ты нос повесил?

В голосе у него прозвучало грубоватое сочувствие. Нижняя губа Ната задрожала, потом Нат се закусил, протянул руку над аккуратной поверхностью своего стола (поверхность моего уже скрывали двенадцать слоев всякого хлама) и вытащил бумажный носовой платок из коробки рядом с проигрывателем. Он долго и старательно сморкался. А когда кончил сморкаться, то уже снова полностью собой овладел, но я видел печальную растерянность у него в глазах. Какую-то мою часть — подлую часть — это обрадовало. Приятно было убедиться, что не обязательно помешаться на «червях», чтобы столкнуться с трудностями. Человеческая натура прячет в себе много дерьма.

— Я поехал туда со Стоуком, Гарри Суидорски и другими ребятами, — сказал Нат.

— А Кэрол была с тобой? Нат покачал головой.

— Она, по-моему, была в компании Джорджа Гилмена. Мы туда поехали на пяти машинах. (Я впервые услышал про Джорджа Гилмена, но это не помешало мне послать в него стрелу злобной ревности.) Гарри и Стоук — члены комитета сопротивления. И Гилмен тоже. Во всяком случае, мы...

— Комитет сопротивления? — спросил Скип. — Это еще что такое?

— Клуб, — сказал Нат и вздохнул. — Они считают, что не просто клуб, особенно Гарри и Джордж, они очень горячие головы. Но это все-таки просто клуб вроде «Маски Мэна» или клуба здоровья, Нат сказал, что сам он поехал, поскольку был вторник, а днем во вторник у него занятий нет. Никто не отдавал распоряжений, никто не предлагал подписаться под клятвой верности, не раздавал даже листов для сбора подписей. Никто не настаивал на демонстрации, и полностью отсутствовал тот дух, воплощенный в ношении военных беретов, который позже проник в движение против войны. Кэрол и ребята ее компании, если верить Нату, смеялись и хлопали друг друга плакатами, когда выезжали с автостоянки у гимнастического зала. (Смеялась. Смеялась с Джорджем Гилменом. Я метнул еще одну ядовитую стрелу ревности.) Когда они приехали к федеральному управлению, одни стали маршировать по кругу пред отделом службы, а другие не стали, Нат был среди тех, кто просто стоял. Когда он сказал нам это, его обычно невозмутимое лицо вновь на миг сморщилось в еще одном кратком приступе чего-то, что у менее уравновешенного юноши могло бы оказаться подлинным отчаянием, — Я собирался участвовать в демонстрации вместе с ними, — сказал он. — Всю дорогу только об этом и думал. До того здорово было! Мы вшестером еле втиснулись в «сааб» Гарри Суидорски. Так здорово! Хантер Макфейл.., вы его знаете?

Мы со Скипом мотнули головами. По-моему, мы оба были ошарашены, узнав, что владелец «Познакомьтесь с Трини Лопес» и «Диана Рени поет военно-морские блюзы» все это время вел вторую тайную жизнь, включающую связи с людьми, привлекающими внимание и полиции, и газетных репортеров.

— Он вместе с Джорджем Гилменом организовал комитет. Ну так Хантер держал костыли Стоука за окном, потому что нам не удалось втиснуть их внутрь, и мы пели «Больше я не марширую» и говорили, что, может, нам и правда удастся помешать войне, если нас будет много и мы сплотимся... То есть обо всем таком говорили мы все, кроме Стоука. Он всегда больше молчит.

Вот так, подумал я. Даже с ними он больше молчит.., кроме, предположительно, тех случаев, когда считает нужным выступить с маленькой проповедью об убедительности. Только Нат думал не о Стоуке, Нат думал о Нате. Угрюмо размышлял над необъяснимым отказом его ног отнести его сердце туда, куда оно явно стремилось.

— Всю дорогу я думал; «буду маршировать с ними, буду маршировать с ними, потому что это правое дело».., то есть я думаю, что оно правое.., а если кто-то на меня замахнется, я не окажу сопротивления, ну, как ребята, бастующие в столовой. И они победили — может, и мы победим. — Он посмотрел на нас. — То есть я хочу сказать, что у меня никаких сомнений не было. Понимаете?

— Угу, — сказал Скип. — Я понимаю.

— Но когда мы приехали туда, я не смог. Я помогал вытаскивать плакаты «ПРЕКРАТИТЕ ВОЙНУ!», и «США, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА ТЕПЕРЬ ЖЕ!», и «ВЕРНИТЕ РЕБЯТ ДОМОЙ!»... Кэрол и я помогли Стоуку взять плакат так, чтобы он сумел с ним маршировать на костылях.., но сам взять плакат я не смог, Я стоял на тротуаре с Биллом Шэдоуиком, Керри Морином и девушкой.., ее зовут Лорди Макгиннис.., она моя напарница в ботанической лаборатории... — Он взял газетный лист у Скипа и начал его рассматривать, будто хотел еще раз убедиться, что, да, это было на самом деле; хозяин Ринти и жених Синди действительно отправился на антивоенную демонстрацию. Он вздохнул, разжал руку, и газетный лист спланировал на пол. Все это было так не похоже на Ната, что у меня в висках закололо.

— Я думал, я буду маршировать с ними. А то зачем бы я вообще поехал? Всю дорогу от Ороно у меня никаких сомнений не было, понимаете?

Он поглядел на меня, будто умоляя. Я кивнул, словно понимал.

— А там я стоял. Не понимаю почему.

Скип сел рядом с ним на кровать. Я нашел пластинку Фила Окса и поставил ее на проигрыватель. Нат поглядел на Скипа, потом отвел взгляд. Руки Ната были такими же маленькими и аккуратными, как он весь. Но только не ногти. Ногти были обгрызены чуть не до мяса.

— Ладно, — сказал он, будто Скип что-то сказал. — Я знаю почему. Я боялся, что их арестуют и меня арестуют с ними. Что в газете будет снимок, как меня арестовывают, и мои родители его увидят, — Наступила долгая пауза. Бедняга Нат пытался досказать. Я держал иглу звукоснимателя над бороздкой, выжидая, договорит ли он. Наконец он договорил. — Что моя мама увидит.

— Все нормально, Нат, — сказал Скип.

— Не думаю, — ответил Нат дрожащим голосом. — Нет, правда. — Он отводил глаза от Скипа и просто сидел на кровати, глядя на обгрызенные ногти. Шапочка первокурсника на голове, белая кожа янки над пижамными штанами, выпуклые цыплячьи ребра. — Я не люблю спорить о войне. Не как Гарри.., и Лорди... Ну, а Джордж Гилмен.., он с утра до вечера готов о ней говорить, и почти все остальные в комитете тоже. Но тут я больше похож на Стоука, чем на них.

— На Стоука никто не похож, — сказал я, вспомнив тот-день, когда нагнал его на Этапе Беннета. «Может, тебе стоит напрягаться поменьше?» — спросил я. «Может, тебе стоит меня съесть?» — ответил мистер Убедительность.

Нат все еще изучал свои ногти.

— Я-то думаю вот что: Джонсон посылает американских ребят туда умирать ни за что ни про что. Это не империализм или колониализм, как считает Гарри Суидорски, это вообще никакой не «изм». Просто у Джонсона в голове мешанина из Дэви Крокетта, и Дэниэла Буна, и «Нью-йоркских янки», вот и все. Но раз я так думаю, мне следовало бы сказать это вслух. Попробовать положить этому конец. Вот чему меня учили в церкви, в школе, даже в чертовых бойскаутах Америки. Тебе положено вставать на защиту. Если ты видишь, что происходит какая-то подлость, например большой парень лупит малыша, тебе положено встать на защиту, попробовать хотя бы остановить его. Но я испугался, что мама увидит на снимке, как меня арестуют, и заплачет.

Нат поднял голову, и мы увидели, что он сам плачет. Чуть-чуть. Влажные веки и ресницы, а больше ничего. Но для него-то и это было чересчур.

— Одно я узнал, — сказал он. — Что означает рисунок на куртке Стоука Джонса.

— Так что? — спросил Скип.

— Комбинация из двух буквенных сигналов, используемых в английском военном флоте. Вот смотрите. — Нат встал, сдвинул вместе голые пятки, вытянул левую руку прямо к потолку, а правую нацелил в пол, образовав прямую линию. — Это N. — Потом он развел руки на сорок пять градусов по отношению к торсу. Я словно увидел, как наложенные друг на друга эти две фигуры превращаются в ту, которую Стоук начертил чернилами на спине своей старой шинели. — А это D.

— №— D, — сказал Скип. — И?

— Буквы означают nuclear disarmament [Ядерное разоружение (англ.).]. Этот символ придумал Бертран Рассел в пятидесятых. Он нарисовал его на обложке своей тетради и назвал символом мира.

— Ловко! — сказал Скип.

Нат улыбнулся и утер глаза пальцами.

— Вот и я так подумал, — согласился он. — Очень даже. Я опустил звукосниматель на пластинку, и мы стали слушать Фила Окса. Торчали от него, как говорили мы, атлантидцы.

Глава 20

Гостиная в середине третьего этажа Чемберлена стала моим Юпитером — жуткой планетой с чудовищной силой притяжения. И все-таки в тот вечер я сумел ее преодолеть, снова проскользнул в телефонную будку и опять позвонил во Франклин. На этот раз Кэрол оказалась там.

— Со мной все нормально, — сказала она с легким смешком. — Просто чудесно. Один полицейский даже назвал меня малюточкой. 0-ох, Пит, такая заботливость!

«А этот тип, Гилмен, он как о тебе позаботился?» — хотелось мне спросить, но даже в восемнадцать лет я понимал, что ничего хорошего из этого не вышло бы.

— Почему ты не позвонила мне? — сказал я, — Может, я бы поехал с тобой. Могли бы поехать на моей машине.

Кэрол захихикала. Мелодичный звук, но загадочный.

— Что?

— Я представила себе, как мы едем на антивоенную демонстрацию в машине с призывом голосовать за Голдуотера на бампере. Да, пожалуй, это было бы потешно.

— Кроме того, — сказала она, — по-моему, у тебя и так хватает дел.

— О чем это ты? — Будто я не знал! Сквозь стекло телефонной будки и стеклянную дверь гостиной я видел, как большинство обитателей моего этажа режутся в карты среди клубов сигаретного дыма. И даже здесь, за закрытой дверью, я слышал пронзительное кудахтанье Ронни Мейлфанта. Мы охотимся на Стерву, ребята, мы спегспем 1а блядь noire, и мы выгоним ее из кустов!

— О занятиях или о «червях». Надеюсь, что о занятиях. Одна девочка с моего этажа встречается с Ленни Дориа — вернее, встречалась, пока у него хватало на это времени. Она называет ее адской игрой. Я уже совсем тебя запилила?

— Нет, — сказал я, не зная, пилит она меня или нет. Возможно, мне требовалось, чтобы меня пилили. — Кэрол, с тобой все в порядке?

Наступила долгая пауза.

— Угу, — сказала она наконец. — В полном порядке.

— А строительные рабочие...

— Практически одна ругань, — сказала она. — Не беспокойся. Нет, правда.

Но по ее тону мне показалось, что это не совсем правда. Очень не совсем. И еще Джордж Гилмен, чтобы беспокоиться. Я беспокоился из-за него и по-другому, чем из-за Салла, ее мальчика дома.

— Ты в комитете, про который мне говорил Нат? — спросил я се. — В комитете сопротивления, так, что ли?

— Нет, — сказала она. — Во всяком случае, пока. Джордж предложил мне присоединиться. Мы с ним в семинаре по точным наукам. Джордж Гилмен. Ты его знаешь?

— Слышал о нем, — сказал я, судорожно сжимая трубку, — казалось, я не мог разжать пальцы.

— Про демонстрацию мне сказал он. Я поехала с ним и с другими ребятами. Я... — Она умолкла, а потом спросила с искренним любопытством:

— Ты что — ревнуешь к нему?

— Ну, — сказал я осторожно, — он ведь провел с тобой целый день, так что, наверное, я ему завидую.

— Не надо. Он умен, и даже очень, но кроме того — убийственная стрижка и большие-пребольшие бегающие глаза. Он бреется, но такое впечатление, что никогда не добривается. Приманка не он, поверь мне.

— А что?

— Мы не могли бы увидеться? Я хочу тебе кое-что показать. Много времени это не займет, но если я смогу просто объяснить... — На последнем слове ее голос задрожал, и я понял, что она вот-вот расплачется.

— Что случилось?

— Ты имеешь в виду — сверх того, что мой отец, наверное, не пустит меня к себе на порог, после того как увидит «Ньюс»? К субботе он, уж конечно, сменит замки. То есть если уже не сменил.

Я вспомнил, как Нат признался, что боялся, что мать увидит снимок его ареста. Мамочкин паинька и будущий стоматолог задержан в Дерри за демонстрацию перед федеральным управлением без разрешения. Какой позор, о какой позор! А папочка Кэрол? Ну, не совсем то, но почти. Папочка Кэрол как-никак сказал однажды «так держать», и вот пошел служить на фло-о-о-о-от».

— Он может и не прочесть заметку, — сказал я. — А если и да, так в ней фамилии не названы.

— Фото-гра-фия, — терпеливо сказала Кэрол, словно извиняя тупице его тупость. — Разве ты не видел ее?

Я начал было говорить, что лицо у нее повернуто от камеры и к тому же в тени, но тут же вспомнил ее школьную куртку с «ХАРВИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА» поперек спины. Да к тому же он ведь ее отец, черт дери. Он ее и в полупрофиль узнает.

— Так ведь он может фотографии не увидеть, — неловко сказал я. — Дамарискотта ведь далеко, и «Ньюс» там могут не читать.

— И собираешься прожить свою жизнь вот так, Пит? — В голосе ее все еще было терпение, но явно на исходе. — Натворить что-то, а потом надеяться, что никто не узнает?

— Нет, — сказал я. Мог ли я озлиться на нее за эти слова, если Эннмари Сьюси все еще понятия не имела, что на свете существует такая вот Кэрол Гербер? Нет, конечно. Мы с Кэрол в браке не состояли, и вообще.., но о браке же и речи не было. — Нет, не собираюсь. Но, Кэрол.., ты же не обязана совать чертову газету ему под нос, верно?

Она засмеялась. Не так весело, как когда упомянула про мой бампер, но я решил, что даже грустный смех лучше, чем никакой.

— Этого не понадобится. Он узнает сам. Он такой. Но я должна была, Пит. И, наверное, я присоединюсь к комитету сопротивления, хотя у Джорджа Гилмена всегда такой вид, будто он малыш, которого застукали, когда он совал в рот то, что выковырял из носа, а хуже дыхания Гарри Суидорски во всем мире не найти. Потому что.., дело в том.., видишь ли... — Мне в ухо ударил ее бессильный вздох. — Слушай, ты знаешь, куда мы ходим курить?

— В Холиоуке? У мусоросборников, а как же?

— Встретимся там, — сказала Кэрол. — Через пятнадцать минут. Сможешь?

— Да.

— Мне еще много надо выучить, так что долго я остаться не смогу, но я.., я просто...

— Я приду.

Я повесил трубку и вышел из будки. Эшли Райе стоял в дверях гостиной, курил и переминался с ноги на ногу. Я сделал вывод, что у него перерыв между партиями. Лицо у него было слишком бледным, черная щетина на щеках смахивала на чернильные штрихи, а рубашка выглядела не просто грязной, но несменяемой. У него был тот ошалелый вид, который позже я начал ассоциировать с безнадежными кокаинистами. Собственно, «черви» и были своего рода наркотиком. Причем не из тех, которые обеспечивают бездумную беззаботность.

— Что скажешь, Пит? — спросил он. — Сыграем пару партий?

— Может, попозже, — сказал я и пошел по коридору. Стуча костылями, Стоук Джонс в старом облезлом халате возвращался из ванной. Его длинные растрепанные волосы были мокрыми. Я прикинул, сколько времени он находился под душем, там ведь не было ни перил, ни ручек, чтобы держаться, какие стали позднее обязательной принадлежностью в ванных общего пользования. Однако, судя по его лицу, он вряд ли захотел бы обсуждать эту тему. Да и любую другую тоже.

— Как дела, Стоук? — спросил я.

Он прошел мимо, не отозвавшись, прошел, опустив голову. По волосам, облепившим его щеки, ползли капли, под мышкой он сжимал мыло и полотенце, еле слышно бормоча:

«фви-Рви, рви-Рви». Он даже не взглянул на меня. Говорите о Стоуке Джонсе что хотите, но подпортить вам день он умел как никто.

Глава 21

Когда я подошел к Холиоуку, Кэрол уже была там. Она принесла от мусоросборников пару ящиков из-под молока и с сигаретой во рту сидела на одном, скрестив ноги. Я сел на другой, обнял ее и поцеловал. Она на секунду прижалась головой к моему плечу, ничего не говоря. Не похоже на нее, но все равно очень приятно. Я продолжал обнимать ее и смотрел на звезды. Вечер был теплым для поздней осени, и много народу — в основном парочки — вышло погулять, соблазнившись такой погодой. До меня доносилось бормотание их голосов. У нас над головой в обеденном зале радио играло «Держись, Слупи». Кто-нибудь из уборщиков, решил я.

Наконец Кэрол подняла голову и чуточку отодвинулась от меня, давая понять, что я могу убрать руку. Вот это было более на нее похоже.

— Спасибо, — сказала она. — Мне было очень нужно, чтобы меня обняли.

— Всегда рад.

— Я немножко боюсь встречи с отцом. Не так чтобы очень, но боюсь.

— Все будет хорошо.

Сказал я так не потому, что верил в это — откуда мне было знать? — но говорят ведь именно такие слова, верно? Именно такие.

— С Гарри, Джорджем и остальными я поехала не из-за отца. Это вовсе не великий фрейдистский бунт, вовсе нет.

Она бросила сигарету, и мы смотрели, как посыпались искры, когда окурок ударился о кирпичи Променада Беннета. Потом Кэрол взяла сумочку с колен, нашла бумажник, открыла его и пролистала снимки, вставленные в целлулоидные окошечки. Потом вытащила один и протянула мне. Я наклонился, чтобы разглядеть его в свете, падавшем из окон столовой, где уборщики, возможно, натирали полы.

На фотографии было трое детей лет одиннадцати-двенадцати — девочка и два мальчика. На всех были голубые майки с надписью красными печатными буквами «СТЕРЛИНГ-ХАУС». Они стояли на автостоянке, обнимая друг друга за плечи, — непринужденная поза «друзья навеки», своеобразно красивая. Девочка стояла между мальчиками. Девочка, естественно, была Кэрол.

— Который Салл-Джон? — спросил я. Она поглядела на меня с некоторым удивлением.., но улыбнулась. Впрочем, я уже не сомневался, что и сам знаю. Салл-Джон, конечно, этот, с широкими плечами, улыбкой до ушей и гривой черных волос. Я вспомнил волосы Стоука, но мальчик на фото явно свою гриву расчесал. Я постучал по нему пальцем. — Этот, верно?

— Это Салл, — подтвердила она, потом дотронулась ногтем до лица второго мальчика. Он выглядел не столько загорелым, сколько обгорелым. Лицо у него было более узким, глаза посажены более близко, волосы морковно-рыжие, остриженные ежиком, так что он смахивал на мальчика с обложки «Сатердей ивнинг пост» работы Нормана Рокуэлла. Его лоб пересекала легкая морщинка. Мышцы на руках Салла были совсем не детскими, а у второго мальчика руки были худыми — худые руки-спички. Наверное, они и теперь были худыми.

На руке, не обнимавшей Кэрол, была надета большая коричневая бейсбольная перчатка.

— Перчатка Бобби, — сказала она. Что-то в се голосе изменилось. В нем появилось что-то, чего я раньше не слышал. Печаль? Но она продолжала улыбаться. Если это печаль, то почему она улыбается? — Бобби Гарфилд. Мой первый мальчик. Моя первая любовь, можно сказать. Он, Салл и я были тогда неразлучными друзьями. И не так давно. В тысяча девятьсот шестидесятом, но ощущение такое, что ужасно давно.

— Что с ним случилось? — Я почему-то был уверен, что она скажет: он умер, этот мальчик с узким лицом и морковным ежиком.

— Он уехал с матерью в другой город. Некоторое время мы переписывались, а потом перестали. Ну, ты знаешь, как это бывает в детстве.

— Хорошая перчатка.

На лице Кэрол все еще улыбка. Я видел, как на се глаза навернулись слезы, пока мы разглядывали снимок.., но все еще улыбка. В белом свете флюоресцентных плафонов столовой се слезы казались серебряными. Слезы принцессы из волшебной сказки.

— Самое большое сокровище Бобби. Вроде бы есть бейсболист Алвин Дарк, верно?

— Был.

— Перчатка Бобби была его модели. Алвина Дарка.

— А моя — Теда Уильямса. Мама, по-моему, сбыла ее на распродаже пару лет назад.

— Перчатку Бобби украли, — сказала Кэрол. Не знаю, помнила ли она, что я все еще сижу рядом. Она продолжала прикасаться кончиком пальца к узкому, чуть нахмуренному лицу. Будто она вернулась в свое прошлое. Я слышал, что гипнотизеры добиваются подобного с восприимчивыми пациентами. — Ее присвоил Уилли.

— Уилли?

— Уилли Ширмен. Я увидела год спустя, как он играл в ней на поле Стерлинг-Хауса. Я была жутко зла. Тогда мама и папа все время собачились, видимо, дело уже шло к разводу, и я была жутко зла. Зла на них, на мою математичку, зла на весь мир. Я все еще боялась Уилли, но зла на него была еще больше... А кроме того, в тот день я была не в себе. Подошла прямо к нему, сказала, что это перчатка Бобби и он должен отдать ее мне. Сказала, что знаю адрес Бобби в Массачусетсе и отошлю ее ему. Уилли сказал, что я сбрендила, что это ЕГО перчатка, и показал свою фамилию на ней. Он стер фамилию Бобби — то есть постарался стереть, — а поверх печатными буквами написал свою. Но я разглядела «бб» от «Бобби».

В ее голосе зазвучало пугающее негодование. И сделало его почти детским. Сделало почти детским ее лицо. Вполне возможно, что память меня обманывает, но не думаю. Сидя там на краю белого света, падавшего из столовой, она, по-моему, выглядела двенадцатилетней девочкой. Ну, может, тринадцатилетней.

— А стереть подпись Алвина Дарка в кармане или написать что-нибудь поверх нее он не мог.., и еще он покраснел. Стал совсем темно-красным. Как розы. А потом — знаешь что? — он попросил у меня прощения за то, что он и двое его дружков сделали со мной. Извинился только он один, и, по-моему, искренне. Но про перчатку он соврал. Не думаю, что она была ему так уж нужна — старая, порванная, да и не по руке ему, но он соврал, чтобы оставить ее себе. Не понимаю почему. Не понимаю.

— Я не очень понимаю, о чем ты говоришь.

— Естественно. Это все перепуталось у меня в голове, хотя я-то была там. Мама как-то сказала мне, что такое случается с людьми после несчастного случая или драки. Кое-что я помню прекрасно — и почти всегда связанное с Бобби, — но все остальное в основном восходит к тому, о чем мне рассказывали потом. Я была в парке по ту сторону улицы, где мы жили, и тут подошли эти трое мальчиков — Гарри Дулин, Уилли Ширмен и еще один, не помню, как его звали. Да и не важно. Они меня избили. Гарри Дулин бил меня бейсбольной битой, а Уилли и тот, третий, держали, чтобы я не убежала.

— Бейсбольной битой? Ты меня разыгрываешь? Она покачала головой.

— Начали они, я думаю, в шутку.., но потом.., уже нет. Вывихнули мне плечо. Я закричала, и, наверное, они убежали. Я сидела там, поддерживала руку.., было ужасно больно и.., и, думаю, я была в шоке.., не знала, что делать. И тут появился Бобби. Он помог мне выйти из парка, а потом взял меня на руки и отнес к себе домой. Нес всю дорогу вверх по Броуд-стрит в один из самых жарких дней в году. Нес меня на руках.

Я взял у нее снимок, поднес его к свету и нагнулся над ним, глядя на мальчика с морковным ежиком. Поглядел на его худые руки-спички. Потом поглядел на девочку. Она была примерно на дюйм выше него и шире в плечах. Я поглядел на второго мальчика, на Салла. С гривой черных волос и всеамериканской ухмылкой. С волосами Стоука Джонса и ухмылкой Скипа Кирка. Я мог представить себе, как ее нес бы на руках Салл, да, конечно, но этот второй...

— Знаю, — сказала она. — По виду он слишком мал, так? Но он нес меня. Я начала терять сознание, и он нес меня. — Она вынула снимок из моих пальцев.

— И пока он тебя нес, этот парень, Уилли, который помогал бить тебя, вернулся и украл его перчатку? Она кивнула.

— Бобби принес меня к себе в квартиру. В комнате наверху жил один старик — Тед, — который словно бы знал что-то обо всем. Он вправил мне руку. Помню, он дал мне свой пояс и велел кусать его. Или это был пояс Бобби? Он сказал, что я могу перехватить боль, и я ее поймала. А после.., после случилось что-то очень скверное.

— Хуже удара бейсбольной битой?

— В каком-то смысле. Не хочу говорить об этом. — Одной рукой она утерла слезы сначала с одной стороны лица, потом с другой, продолжая смотреть на снимок. — А потом, до того, как они с матерью уехали из Харвича, Бобби избил парня, который орудовал битой. — Кэрол вставила снимок в его отделеньице.

— Об этом дне я помню только то, что стоит помнить, — как Бобби Гарфилд меня выручил. Салл был выше него и много сильнее, и Салл, возможно, вступился бы за меня, будь он там, но его там не было. А Бобби был, и он прошел со мной на руках всю дорогу вверх по склону. Он сделал то, что было очень нужным. Самое лучшее, самое важное, что для меня сделали за всю мою жизнь. Понимаешь, Пит?

— Угу, понимаю.

Но я понял и еще кое-что: она говорила почти то же самое, что говорил Нат меньше часа назад.., только она-то маршировала. Взяла плакат и маршировала с ним. Но, конечно, Ната Хоппенстенда не избили трое парней, начавших в шутку, а затем решивших действовать всерьез. Возможно, в этом и заключалась разница.

— Он нес меня вверх по склону, — сказала она. — Мне всегда хотелось сказать ему, как сильно я люблю его за это и как сильно я люблю его за то, как он показал Гарри Дулину, что за причиненную людям боль приходится платить, особенно если они слабее тебя и не сделали тебе никакого вреда.

— И потому ты маршировала перед управлением.

— Я маршировала. Я хотела объяснить кому-то почему. Кому-нибудь, кто понял бы. Мой отец не захочет, моя мать не сумеет. Ее подруга Рионда позвонила мне и сказала... — Она не договорила, а только продолжала сидеть на ящике из-под молочных пакетов, вертя в руках сумочку.

— Что она сказала?

— Ничего.

Голос у нее был измученный, тоскливый. Мне хотелось поцеловать ее или хотя бы обнять, но я боялся испортить то, что сейчас произошло. Так как что-то произошло. В ее рассказе была магия. Не в центре, но где-то по самому краю. Я ощутил эту магию.

— Я маршировала и, наверное, присоединюсь к комитету сопротивления. Моя соседка по комнате говорит, что я свихнулась. Мне никогда не устроиться на работу, если я стану членом коммунистической группы и это будет официально зафиксировано. Но, думаю, я это сделаю.

— А твой отец? Как насчет него?

— Кладу я на него.

Наступила секунда растерянности, когда мы осознали, КАК она выразилась. Потом Кэрол хихикнула.

— Вот уж это чистейший фрейдизм! — Она встала. — Ну, мне надо идти заниматься. Спасибо, Пит, что пришел. Я никогда никому этого снимка не показывала. И сама на него не смотрела уж не знаю сколько времени. Я чувствую себя лучше. Намного.

— Вот и хорошо. — Я тоже встал. — Но прежде чем уйти, ты поможешь мне кое в чем?

— Конечно. А в чем?

— Я тебе покажу. Много времени это не займет.

Я повел ее вдоль Холиуока, а потом вверх по холму за ним. Ярдах в двухстах находилась автостоянка, на которой студенты, не получившие пропуска на территорию городка (первокурсники, второкурсники и большинство третьекурсников), держали свои машины. Это было главное место свиданий, едва наступали холода, но в этот вечер я совсем не думал об объятиях в моей машине.

— А ты объяснила Бобби, у кого его перчатка? — спросил я. — Ты ведь сказала, что переписывалась с ним.

— Не видела смысла.

Некоторое время мы шли молча. Потом я сказал:

— В День Благодарения я думаю порвать с Эннмари. Я хотел ей позвонить, но не позвонил. Раз уж так, то, мне кажется, лучше это сделать при встрече. — До этой минуты я не осознавал, что принял такое решение, и вдруг оказалось, что да, принял. Бесспорно, сказал я это не для того, чтобы сделать приятное Кэрол.

Она кивнула, загребая кроссовками сухие листья, сжимая в одной руке сумочку, не глядя на меня.

— Мне пришлось воспользоваться телефоном. Позвонила Эс-Джсю и сказала, что встречаюсь с одним парнем. Я остановился.

— Когда?

— На прошлой неделе. — Вот теперь она поглядела на меня. Ямочки, чуть изогнутая нижняя губа. Та самая улыбка.

— На прошлой не-де-ле? И ты мне не сказала.

— Это было мое дело. Мое и Салла. То есть он же не собирается наброситься на тебя с... — Она помолчала ровно столько, чтобы мы успели вместе мысленно докончить «с бейсбольной битой», а затем продолжала:

— То есть он не собирается набрасываться на тебя и вообще. Идем, Пит. Если нам надо что-то сделать, так давай. Но кататься с тобой я не поеду. Мне надо заниматься.

— Никаких катаний.

Мы пошли дальше. В те дни стоянка казалась мне огромной — сотни машин, десятки и десятки в каждом облитом луной ряду. Я с трудом вспомнил, где поставил «универсал» моего брата. Когда я последний раз побывал в УМ, стоянка оказалась в три, если не в четыре раза шире и вмещала тысячу с лишним машин. Проходит время, и все становится больше. Кроме нас.

— Пит? — Идет. Опять смотрит вниз на свои кроссовки, хотя теперь мы шли по асфальту и листьев, чтобы загребать их ногами, там не было.

— А?

— Я не хочу, чтобы ты порвал с Эннмари из-за меня. Потому что мне кажется, у нас это.., временно. Ведь так?

— Угу. — Мне стало горько от ее слов. На языке граждан Атлантиды, это называлось «получить по шеям» — но удивлен я не был. — Наверное, так.

— Ты мне нравишься, и сейчас мне нравится бывать с тобой, но это только симпатия и ничего больше. Будем честны. Так что если хочешь держать рот на замке, когда поедешь домой на каникулы, то...

— Держать ее дома на всякий пожарный случай? Как запаску в багажнике на случай прокола?

Она посмотрела на меня с недоумением, потом засмеялась.

— Touche [Здесь: фехтовальный термин, означающий, что выпал противника достиг цели (фр.).], — сказала она.

— В каком смысле touche?

— Даже не знаю, Пит.., но ты мне правда нравишься. Она остановилась, повернулась ко мне и обняла меня за шею. Некоторое время мы целовались между двумя рядами машин, пока у меня не встало настолько, что она не могла не почувствовать. Тут она чмокнула меня в губы, и мы пошли дальше.

— А что тебе сказал Салл? Не знаю, имею ли я право спрашивать, но...

— ..но тебе нужна информация, — сказала она резким голосом Номера Второго. Потом засмеялась. Грустным смехом. — Я ждала, что он рассердится или даже заплачет. Салл могучий парень и до чертиков пугает противников на футбольном поле, но чувства у него все нараспашку. Чего я не ожидала, так это облегчения.

— Облегчения?

— Облегчения. Он с месяц, если не дольше, встречается с девушкой в Бриджпорте.., только мамина подруга Рионда сказала, что она, собственно, женщина лет двадцати четырех двадцати пяти.

— Прямо-таки защита от бед, — сказал я, надеясь, что прозвучало это спокойно и задумчиво. На самом деле я возликовал. Ну, а как же? И если бедненький нежно-сердечный Джон Салливан вляпался в сюжет песни в стиле кантри-вестерн в исполнении Мерль Хаггард, так четыреста миллионов красных китайцев насрать на это хотели, а я так вдвойне.

Мы уже почтя дошли до моего «универсала». Еще одного драндулета среди таких же, но по доброте моего брата он принадлежал мне.

— У него есть кое-что поважнее нового любовного увлечения, — сказала Кэрол. — Когда в июне он окончит школу, то пойдет в армию. Уже поговорил с вербовщиком и все устроил. Ждет не дождется отправиться во Вьетнам и приступить к спасению мира для демократии, — Ты с ним поспорила из-за войны?

— Да нет. Что толку? И что я могла бы ему сказать? Что для меня тут дело в Бобби Гарфилде? И что все словеса Гарри Суидорски, и Джорджа Гилмена, и Хантера Макфейла только дымовая завеса и игра зеркал в сравнении с тем, как Бобби нес меня вверх по Броуд-стрит? Салл подумал бы, что я сбрендила. Либо сказал бы, что я чересчур умна. Салл жалеет чересчур умных. Говорит, что умничанье — это болезнь. И, может быть, он прав. Я ведь его вроде бы люблю, знаешь ли. Он очень милый. И еще он один из тех ребят, которые нуждаются в ком-то, кто их опекал бы.

«Надеюсь, он найдет какую-нибудь другую опекуншу, — подумал я. — Лишь бы не тебя».

Она взыскательно осмотрела мою машину.

— Ну, ладно. Она безобразна и настоятельнейшим образом нуждается в том, чтобы ее вымыли, но при всем при том это средство передвижения. Вопрос: что мы делаем здесь в то время, когда мне следовало бы читать рассказ Флэннери О'Коннор?

Я достал перочинный нож и открыл его.

— У тебя в сумочке есть пилка для ногтей?

— По правде сказать, имеется. Мы будем драться? Номер Второй и Номер Шестой выясняют отношения на автомобильной стоянке?

— Не остри. Просто достань ее и следуй за мной. К тому времени, когда мы обошли «универсал», она уже смеялась, и не грустным смехом, но заливчатым, который я впервые услышал, когда на конвейере прибыл похабный человек-сосиска Скипа. Она наконец поняла, зачем мы пришли сюда.

Кэрол принялась соскабливать наклейку на бампере с одного конца, я с другого, пока мы не встретились на середине. И мы смотрели, как ветер кружит обрывки на асфальте. Аu revoir [Прощай (фр.).] АuН2О-4 — USA. Прощай, Барри. И мы хохотали, просто не могли остановиться.

Глава 22

Пару дней спустя мой друг Скип, который приехал в университет с политической сознательностью моллюска, повесил на своей половине комнаты, которую делил с Брадом Уизерспуном, плакат, изображавший сияющего улыбкой бизнесмена в костюме-тройке. Одну руку бизнесмен протягивал для рукопожатия. Другую — прятал за спиной, но она сжимала что-то такое, из чего капала кровь в лужицу между его ботинками. «ВОЙНА ДОХОДНОЕ ДЕЛО, — гласила надпись. — ВЛОЖИТЕ СВОЕГО СЫНА!»

Душка пришел в ужас.

— Так ты что — против войны во Вьетнаме? — спросил он, увидев плакат. Думаю, воинственно выставленный вперед подбородок нашего любимого старосты маскировал шок и растерянность. Как-никак Скип в школе был первоклассным бейсболистом. И считалось, что он будет играть за университет. Его уже обхаживали «Дельта-тау-дельта» и «Фи-гамма», самые наши престижные спортивные общества. Скип был не какой-то болезненный калека вроде Стоука Джонса (Душка Душборн тоже завел манеру называть Стоука Рви-Рви) или пучеглазый псих вроде Джорджа Гилмена.

— Так ведь этот плакат просто показывает, что много людей наживаются на этой мясорубке, — сказал Скип. — «Макдональд — Дуглас», «Боинг», «Дженерал электрик», «Доу кемикалс», «Пепси-бля-кола». И еще всякие.

Глаза-буравчики Душки дали понять (или попытались), что он размышлял над этими вопросами куда глубже, чем Скип Кирк вообще способен.

— Разреши спросить тебя вот о чем: ты думаешь, что мы должны остаться в стороне и позволить дядюшке Хо прибрать там все к рукам?

— Я пока не знаю, что именно я думаю, — ответил Скип. — Пока еще. Я вообще заинтересовался этим только недели две назад. И все еще играю в салочки.

Разговор происходил в семь тридцать утра, и вокруг двери Скипа столпились те, у кого занятия начинались в восемь. Я увидел Ронни (плюс Ника Прауди — к этому времени они стали неразлучными), Эшли Раиса, Ленни Дориа, Билли Марчанта и еще четверых-пятерых. Нат прислонился к двери 302 в майке и пижамных штанах. На лестничной площадке опирался на костыли Стоук Джонс. Видимо, он направлялся вниз и остановился послушать спор.

Душка сказал:

— Когда вьетконговцы входят а южновьетнамское селение, первым делом они ищут людей, носящих распятие, образок со святым Христофором, Девой Марией или еще что-нибудь такое. Католиков убивают. Убивают людей, которые верят в БОГА. Ты думаешь, мы должны стоять в стороне и позволять коммунистам убивать людей, верящих в Бога?

— А почему бы и нет? — сказал Стоук с лестничной площадки. — Стояли же мы в стороне и позволяли нацистам шесть лет убивать евреев. Евреи верят в Бога, во всяком случае, так я слышал.

— Хренов Рви-Рви! — завопил Ронни. — Кто, бля, тебя спрашивает?

Но Стоук Джонс, он же Рви-Рви, уже спускался по лестнице. Отдающийся эхом стук его костылей напомнил мне про недавно отбывшего Фрэнка Стюарта.

Душка снова повернулся к Скипу, упираясь в бока кулаками. К его белой майке на груди были приколоты личные знаки. Его отец, сообщил он нам, носил их во Франции и в Германии, носил, когда лежал за деревом, укрываясь от пулеметного огня, который скосил двух человек в его роте и ранил еще четырех. Какое все это имело отношение к конфликту во Вьетнаме, никто из нас толком не понял, но Душка, видимо, придавал знакам особую важность, а потому никто из нас спрашивать не стал. Даже у Ронни хватило ума заткнуть пасть.

— Если мы позволим им захватить Вьетнам, они захватят Камбоджу. — Глаза Душки перешли со Скипа на меня, на Ронни.., на всех нас. — Потом Лаос. Потом Филиппины. Одно за Другим.

— Если они способны на такое, так, может, заслуживают победы, — сказал я.

Душка обалдело посмотрел на меня. Я и сам немножко обалдел, но назад свои слова не взял.

Глава 23

До каникул Дня Благодарения оставался еще один раунд зачетов, и для юных школяров третьего этажа Чемберлена это была катастрофа. В большинстве мы уже понимали, что допрыгались до катастрофы, что мы совершаем что-то вроде группового самоубийства. Кэрби Макклендон выкинул свой хренов фокус и исчез, будто кролик в цилиндре фокусника. Кении Остир, обычно сидевший в углу во время марафонских партий и ковырявший в носу, когда не мог решиться, с какой карты пойти, просто смылся. На своей подушке он оставил даму пик, поперек которой написал: «Я пас». Джордж Лессард присоединился к Стиву Оггу и Джеку Фрейди в Чэде, общежитии умников.

Шесть вычеркиваем, остается тринадцать.

Казалось бы, достаточно. Черт, да одного того, что случилось с беднягой Кэрби, было больше чем достаточно. Последние три-четыре дня перед срывом руки у него так тряслись, что ему трудно было брать карты со стола и он подскакивал на стуле, если кто-нибудь хлопал дверью в коридоре. Кэрби следовало быть больше чем достаточно. Но не было. Как и моего времени с Кэрол. Когда я был с ней, да, я оставался в норме. Когда я был с ней, я не хотел ничего, кроме информации (и, возможно, оттрахать ее до опупсния). Однако в общежитии, и особенно в чертовой гостиной на третьем этаже, я становился другим вариантом Питера Рили. В гостиной третьего этажа я был кем-то, мне незнакомым.

С приближением Дня Благодарения всеми овладел какой-то слепой фатализм. Только никто из нас об этом не заговаривал. Мы говорили о фильмах или сексе («Я перепробовал больше задниц, чем карусельный конь», — имел обыкновение кукарекать Ронни, как правило, ни с того ни с сего), но больше всего мы говорили о Вьетнаме.., и «червях». Разговоры о «червях» сводились к обсуждению, кто в выигрыше, кто в проигрыше и кто словно бы не способен усвоить несколько простых принципов игры: избавляйся хотя бы от одной масти, сплавляй червей среднего достоинства тому, кто любит рисковать, а если вынужден взять взятку, бери самой старшей картой, какая у тебя есть.

Единственной нашей активной реакцией на надвигающийся третий раунд зачетов было превращение игры в своего рода нескончаемый турнир. Мы все еще играли по пять центов очко, но теперь еще ввели «очки за партию». Система получения очков за партию была очень сложной, но Рэнди Эколс и Хьм Бреннен за две лихорадочные ночные игры разработали хорошую рабочую формулу. Оба они, кстати, прогуливали курс введения в математику, и после завершения осеннего семестра ни тот ни другой не был приглашен продолжать занятия.

Тридцать три года прошло с того раунда зачетов перся Днем Благодарения, но мужчина, которым стал тот мальчишка, все еще ежится при воспоминании о них. Я провалил все, кроме социологии и введения в литературу. И мне не потребовалось ждать, когда вывесят оценки, чтобы узнать об этом Скип сказал, что прошел все под развернутыми парусами, кроме дифисча, где чуть не пошел ко дну. Я в этот вечер пригласил Кэрол в кино — наше прощальное свидание перед каникулами (и наше последнее, хотя тогда я этого не знал), и когда шел за своей машиной, встретил Ронни Мейлфанта. Я спросил, как, по его мнению, у него с зачетами. Ронни улыбнулся, подмигнул и сказал:

— Взял каждый тузом. Точно, как в хреновой «Студенческой Чаше». Мне тревожиться нечего. — Но в свете фонарей на стоянке я разглядел, что его улыбка подрагивает в уголках губ. Кожа у него стала совсем бледной, и его прыщи выглядели даже хуже, чем в сентябре, когда начались занятия. — А у тебя как?

— Меня хотят сделать деканом искусств и наук, — сказал я. — Это тебе о чем-нибудь говорит? Ронни загоготал.

— Мудак хреновый! — Он хлопнул меня по плечу. Нахальная самоуверенность в его глазах сменилась страхом, и он выглядел совсем мальчишкой. — Собрался куда-то?

— Угу.

— С Кэрол?

— Угу.

— Рад за тебя. Чувиха что надо. — Такая доброжелательность со стороны Ронни просто надрывала душу. — И если я тебя на этаже не увижу, так желаю тебе повеселиться за благодарственной индейкой.

— И тебе того же, Ронни.

— Ну да, спасибо. — Смотрит на меня не прямо, а уголком глаза, старается удержать улыбку на губах. — Не тут, так там попразднуем.

— Угу. Пожалуй, точнее ситуацию не определить.

Глава 24

Было жарко. Хотя мотор был выключен и печка тоже, в машине было жарко — мы согрели ее теплом наших тел. Стекла запотели, и свет фонарей проникал внутрь расплывчатым сиянием, точно сквозь матовое окно ванной, и гремело радио:

Могучий Джон Маршалл со старыми песнями, Скромный и тем не менее Могучий исполняет «Четыре времени года», и Давеллсы, и Джек Скотт, и Ричард Литтл, и Фредди «Бум-Бум» Кэннон, и все старые-старые песни, а ее кофточка расстегнута, а ее бюстгальтер повешен на спинку, и одна бретелька свисает — широкая плотная бретелька (техника бюстгальтеров в те дни еще не осуществила следующий великий прыжок вперед), и, о Господи, ее теплая кожа, ее сосок жестко трется о мои губы, а се трусики еще на ней, но лишь относительно — они смяты в комочек, сдвинуты вбок, и я сунул в нее один палец, потом два, а Чак Берри поет «Джонни Б. Гуд», и «Ройал Тинз» поют «Шорты-Подшортики», и ее рука в моей ширинке, ее пальцы дергают резинку моих подшортиков, и я ощущаю ее запах: духов на ее шее, пота на ее висках, там, где начинаются волосы, и я слышу ее, слышу живое пульсирование ее дыхания, бессловесные шепотки у меня во рту, пока мы целуемся, и все это на переднем сиденье моей машины, сдвинутом назад насколько можно, и я не думаю ни о проваленных зачетах, ни о войне во Вьетнаме, ни об ЛБД в приветственной гирлянде цветов на Гавайях, и вообще ни о чем, а только хочу ее, хочу ее прямо здесь, прямо сейчас, и тут внезапно она выпрямляется и выпрямляет меня, упершись обеими ладонями мне в грудь, и растопыренные пальцы отталкивают меня назад к рулевому колесу. Я снова придвинулся к ней, скользнул ладонью вверх по ее бедру, а она сказала «Пит! Нет!» резким голосом и сомкнула ноги, и колени стукнулись друг о друга так громко, что я услышал этот стук, этот стук засова, означающий, что с тебя довольно, нравится тебе это или нет. Мне не нравилось, но я остановился.

Прислонился головой к запотевшему стеклу левой дверцы, тяжело дыша. Мой член был железным цилиндром, прижатый спереди трусами так крепко, что было больно. Не очень долго — ничто не стоит вечно. Мне кажется, это сказал Бенджамин Дизраэли. Но эрекция угасает, а яйца остаются на взводе. Простой факт мужской жизни.

Мы ушли с фильма — жуткая жвачка про нашенского парня с Бертом Рейнольдсом — и вернулись на стоянку, думая об одном.., во всяком случае, я надеялся, что об одном. Да так, пожалуй, и было, только я-то надеялся получить немножко больше, чем получил.

Кэрол запахнула кофточку, но ее бюстгальтер все еще висел на спинке, и выглядела она ошеломляюще желанной — ее груди рвались наружу, и в тусклом свете можно было разглядеть темные полукружья сосков. Она уже открыла сумочку и дрожащей рукой выуживала из нее сигареты.

— У-у-у-у... — сказала она, и голос у нес дрожал, как руки. — Я хочу сказать, ух ты!

— В расстегнутой кофточке ты похожа на Брижит Бардо, — сказал я ей.

Она подняла голову — удивленно и, по-моему, польщенно.

— Ты правда так думаешь? Или потому, что у меня светлые волосы?

— Волосы? Бля, нет. Это потому... — Я указал на кофточку. Кэрол посмотрела на себя и засмеялась. Однако пуговиц застегивать не стала и не попыталась стянуть ее потуже. Но думаю, ей бы это не удалось, поскольку кофточка сидела на ней как влитая.

— Дальше по улице от нас был кинотеатр, когда я была девочкой, — «Эшеровский Ампир». Теперь его снесли, но когда мы были детьми — Бобби, и Салл-Джон, и я, — там словно бы все время крутили ее фильмы. По-моему, «И Бог создал женщину» шел там тысячу лет.

Я расхохотался и взял с приборной доски свои сигареты.

— В автокино Гейт-Фоллса его всегда показывали третьим художественным фильмом в вечерней программе по пятницам и субботам.

— Ты его видел?

— Смеешься? Да мне не разрешали даже носа туда совать, кроме как на диснеевские программы. По-моему, «Тонку» с Салом Минео я видел по меньшей мере семь раз.

— Я не вернусь в университет, — сказала она, закуривая. Сказала она это так спокойно, что сперва мне почудилось, что мы все еще говорим о старых фильмах или о полночи в Калькутте, то есть вообще о чем-то, что убедило бы наши тела вновь уснуть — представление окончено. А потом до меня дошло.

— Ты.., ты сказала?..

— Я сказала, что не вернусь после каникул. И дома праздновать День Благодарения радость будет небольшая, но какого черта!

— Твой отец?

Она покачала головой и сделала затяжку. Тлеющий кончик сигареты отбрасывал на ее лицо оранжевые блики среди полумесяцев серой тени. Она казалась много старше. Все еще красивой, но много старше. Пол Анка пел «Диану», я выключил приемник.

— Мой отец тут ни при чем. Я возвращаюсь в Харвич. Ты помнишь, я упомянула Рионду, мамину подругу?

Я вроде бы что-то такое помнил, а потому кивнул.

— Снимок, который я тебе показывала, сделала Рионда. Ну, тот, где я с Бобби и Эс-Джеем. По ее словам... — Кэрол посмотрела вниз на свою юбку, все еще задранную чуть не до пояса, и начала перебирать ее в пальцах. Никогда нельзя предсказать заранее, из-за чего люди смущаются. Иногда это физиологические отправления, иногда — сексуальные завихрения родственников, иногда это просто позирование. А иногда, естественно, это пьянство.

— Скажем так: в семье Герберов проблемы с алкоголем есть не только у моего папочки. Он научил маму закладывать за воротник, а она была прилежной ученицей. Долгое время она воздерживалась — по-моему, посещала собрания «Анонимных алкоголиков», — но, по словам Рионды, она снова начала. А потому я возвращаюсь домой. Не знаю, сумею ли помочь ей или нет, но попытаюсь. И не только ради мамы, но и брата. Рионда говорит. Йен не знает, на каком он свете. Ну да этого он никогда не знал. — Она улыбнулась.

— Кэрол, а может, это не такая уж хорошая идея. Махнуть рукой на свое образование...

Она сердито вздернула голову.

— Ах, тебя заботит мое образование? Знаешь, что говорят про дерьмовые «черви», в которые дуются на третьем этаже Чсмберлена? Что все до единого там вылетят из университета к Рождеству, включая и тебя. Пенни Ланг говорит, что к весеннему семестру там никого не останется, кроме вашего говенного старосты.

— Ну, — сказал я, — это уж преувеличение. Нат останется. И еще Стоукли Джонс. Если только как-нибудь вечером не сломает шею, спускаясь по лестнице.

— Ты говоришь так, будто это смешно.

— Вовсе не смешно, — сказал я. Да, это было совсем не смешно.

— Тогда почему ты не бросишь?

Теперь начал злиться я. Она меня оттолкнула и сжала колени, сказала мне, что уезжает, когда мне уже не просто хотелось ее видеть, а необходимо было ее видеть.., она бросила меня черт знает в какое дерьмо, и — здрасьте! — все дело, оказывается, во мне. Все дело, оказывается, в картах.

— Я НЕ ЗНАЮ, почему я не бросаю, — сказал я. — А почему ты не можешь найти кого-то еще, кто позаботился бы о твоей матери? Почему эта ее подруга, ну, Рованда...

— Рионда.

— ..не может о ней позаботиться? Я хочу сказать, разве твоя вина, что твоя мать пьяница?

— Моя мать не пьяница! Не смей называть ее так!

— Но ведь с ней что-то неладно, если ты из-за нее хочешь бросить университет. Если это настолько серьезно, значит, что-то очень неладно.

— Рионда работает, и ей надо заботиться о собственной матери, — сказала Кэрол. Ее гнев угас. Она говорила устало, безнадежно. Я помнил смеющуюся девушку, которая стояла рядом со мной и смотрела, как ветер гонит по асфальту обрывки призыва голосовать за Голдуотера, но эта была будто совсем другая.

— Моя мать — это моя мать. Заботиться о ней некому, кроме меня и Йена, а Йен и в школе-то еле-еле справляется. И ведь в запасе у меня Коннектикутский университет.

— Тебе нужна информация? — спросил я ее. Голос у меня дрожал, хрипел. — Так я дам тебе информацию, нужна она тебе или нет. Идет? Ты разбиваешь мне сердце. Вот тебе ИНФОРМАЦИЯ. Ты разбиваешь мое дерьмовое сердце.

— Да нет, — сказала она. — Сердца же очень крепки. Пит. Чаще всего они не разбиваются. Чаще всего они только чуть проминаются.

Ну да, да! А Конфуций говорит, что женщина, которая летает вверх тормашками, приземляется головой. Я заплакал. Самую чуточку. Но это были слезы, никуда не денешься. Главным образом, полагаю, потому что я был захвачен врасплох. И ладно! Может, я плакал и из-за себя. Потому что был напуган. Я проваливал — или был под угрозой провалить — все зачеты, кроме одного, один из моих приятелей намеревался нажать на кнопку «ВЫБРОС», а я никак не мог бросить играть в карты. Когда я раньше думал об университете, мне все представлялось совсем иначе, и я был в полном ужасе.

— Я не хочу, чтобы ты уезжала, — сказал я. — Я люблю тебя. — Тут я попытался улыбнуться. — Немножко добавочной информации, хорошо?

Она посмотрела на меня с выражением, которого я не понял, потом опустила стекло со своей стороны и выбросила сигарету на асфальт. Подняла стекло и протянула ко мне руку.

— Иди сюда.

Я сунул свою сигарету в битком набитую пепельницу и скользнул по сиденью к ней. В се объятия. Она поцеловала меня и посмотрела мне в глаза.

— Может быть, ты любишь меня, может быть, нет. Я ни за что не стану отговаривать тебя меня любить, это я могу тебе сказать — ведь любви вокруг так мало. Но у тебя в душе полная неразбериха, Пит. Из-за занятий, из-за «червей», из-за Эннмари и из-за, меня тоже.

Я хотел сказать, что это вовсе не так, но, конечно, было именно так.

— Я могу поступить в Коннектикутский университет, — сказала она. — И если с мамой наладится, я поступлю туда. А нет, так я могу заниматься полузаочно в Пеннингтоне в Бритдж-порте или пойти на вечерние курсы в Стредфорде или Харвиче. Все это я могу, могу позволить себе такую роскошь выбора, потому что я девушка. Сейчас отличное время для девушек, поверь мне. Линдон Джонсон об этом позаботился.

— Кэрол...

Она ласково прижала ладонь к моим губам.

— Если ты вылетишь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях. Обязательно подумай об этом, Пит. Салл — другой случай. Он верит, что так нужно, и он хочет отправиться туда. А ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь, и так будет, пока ты будешь сидеть за картами.

— Послушай, я же соскоблил голдуотерскую наклейку с бампера, верно? — Я и сам почувствовал, что сморозил глупость.

Она промолчала.

— Когда ты уедешь?

— Завтра днем. У меня билет на четырехчасовой автобус в Нью-Йорк. В Харвиче он останавливается всего в трех кварталах от моего дома.

— Ты едешь из Дерри?

— Да.

— Можно я отвезу тебя на автовокзал? Я мог бы заехать за тобой в общежитие около трех.

Она подумала, потом кивнула.., но выражение ее глаз оставалось неясным. Не заметить этого было нельзя: ведь обычно ее взгляд был таким откровенным, таким бесхитростным.

— Это было бы хорошо, — сказала она. — Спасибо. И ведь я тебе не лгала, правда? Я же сказала, что у нас это может оказаться временным.

Я вздохнул.

— Угу. Только это оказалось куда более временным, чем я ожидал.

— Так вот. Номер Шестой, нам нужна.., ин-фор-мация.

— Не получите. — Ответить с жесткостью Патрика Макгуэна в «Пленнике», когда слезы все еще щипали глаза, было трудно, но я постарался, как мог.

— Даже если я скажу «пожалуйста»? — Она взяла мою руку, сунула ее под кофточку, положила на левую грудь. То мое, что уже впадало в апатию, тут же встало по стойке «смирно».

— Ну...

— У тебя прежде бывало? То есть все до последнего? Вот какая мне нужна информация.

Я заколебался. Наверное, почти все мальчики затрудняются ответить на этот вопрос и врут. Врать Кэрол я не хотел.

— Нет, — сказал я.

Она грациозно выскользнула из своих трусиков, перебросила их на заднее сиденье и сплела пальцы у меня на шее.

— А у меня — да. Два раза. С Саллом. По-моему, он не очень это умеет... Но ведь он никогда в университете не учился. В отличие от тебя.

Во рту у меня пересохло, но, видимо, это была иллюзия — когда я се поцеловал, наши рты были мокрыми, и они впились друг в друга: губы, языки, покусывающие зубы. Когда я обрел дар речи, я сказал:

— Постараюсь, как могу, поделиться своим университетским образованием.

— Включи радио, — сказала она, расстегивая мой пояс и дергая молнию моих джинсов. — Включи радио, Пит. Я люблю старые песни.

И я включил радио, и целовал ее, и было место, особое место, куда ее пальцы направили меня, и было мгновение, когда я был тем же самым прежним, а потом было новое место — быть. Там она была очень теплой и очень тесной. Она прошептала мне на ухо, щекоча губами:

— Не торопись. Медленно съешь овощи, все до единого, и, может быть, получишь десерт.

Джеки Уилсон пела «Одинокие капли слез», и я не торопился. Рой Орбисон пел «Только одинокие», и я не торопился. Могучий Джон выступил с рекламой «У Браннингена» — самого горяченького клуба в Дерри, и я не торопился. Потом она начала стонать, и уже не пальцы, а ногти впивались мне в шею, а когда она начала вскидывать бедра навстречу мне коротки"» яростными рывками, я уже не мог не торопиться, а по ради запели Плэттеры. Плэттсры пели «Время сумерек», а она начала стонать, что не знала, понятия не имела, о-ох, ох, Пит, о-ех, о Господи, Господи Иисусе, Пит, и ее губы прижимались к моему рту, моему подбородку, моей скуле в исступленных поцелуях. Я слышал, как скрипит сиденье, я ощущал запах сигарет и соснового освежителя воздуха, свисавшего с зеркала заднего вида, и я уже сам стонал, не знаю что, Плэттеры пели:

«Я каждый день о вечере молюсь, чтоб быть с тобой», и тут произошло. Насос работает в экстазе. Я закрыл глаза, с закрытыми глазами я обнимал ее и вошел в нее вот так, когда весь дрожишь, и слышал, как мой каблук выбивает лихорадочную дробь о дверцу, и думал, что я мог бы, даже умирай я, умирай я; и еще думал, что это была информация. Насос работает в экстазе, карты падают там, где падают, Земля ни на йоту не замедляет свое вращение, дама прячется, даму находят, и все это была информация.

Глава 25

На следующее утро у меня был короткий разговор с моим преподавателем геологии, который сказал мне, что я «сползаю в очень серьезную ситуацию». «Это не совсем новая информация, Номер Шестой», — хотел было я сказать ему, но не сказал. Мир в это утро выглядел по-иному — и лучше, и хуже. Когда я вернулся в Чемберлен-Холл, Нат уже совсем собрался в дорогу. В одной руке он держал чемодан с наклейкой «Я ПОДНЯЛСЯ НА Г. ВАШИНГТОН». С плеча у него свисал рюкзак, набитый грязным бельем. Как и все остальные, Нат теперь казался другим.

— Счастливого Дня Благодарения, Нат, — сказал я, открывая свой шкаф и начиная наугад вытаскивать штаны и рубашки. — Налегай на начинку. Ты до хрена тощий.

— Обязательно. И под клюквенным соусом. В первую неделю тут я совсем истосковался по дому и не мог ни о чем думать, кроме маминых соусов.

Я укладывал чемодан, думая о том, как повезу Кэрол на автовокзал в Дерри, а потом просто поеду дальше. Если на шоссе №136 не будет особых заторов, то домой я доберусь еще до темноты. Может, даже остановлюсь у «Фонтана Фрэнка» и выпью кружечку рутбира, прежде чем свернуть на Саббат-роуд к родному дому. Внезапно для меня важнее всего стало поскорее выбраться из этого места — подальше от Чемберлен-Холла и Холиоука, подальше от всего чертова университета. «У тебя в душе полная неразбериха, Пит, — сказала Кэрол в машине вчера вечером. — Ты не знаешь, чего хочешь, во что веришь, и так будет, пока ты будешь сидеть за картами».

Вот он, мой шанс убраться подальше от карт. Было больно от мысли, что Кэрол не вернется, но я бы солгал, сказав, что именно это владело тогда моими мыслями. В этот момент главным было убраться подальше от гостиной третьего этажа. Убраться подальше от Стервы. «Если ты вылетишь отсюда в декабре, то в следующем декабре вполне можешь оказаться в джунглях». «Покедова, беби, пиши», — как говаривал Скип Кирк.

Когда я запер чемодан и оглянулся, Нат все еще стоял в дверях. Я даже подпрыгнул и пискнул от неожиданности. Словно явление дерьмового духа Банко.

— Эй, катись-ка отсюда, — сказал я. — Время и поезда никого не ждут. Даже будущих стоматологов. Нат стоял и смотрел на меня.

— Тебя исключат, — сказал он.

Вновь я подумал, что между Натом и Кэрол есть что-то жутковато общее, почти две стороны одной медали — мужская и женская. Я выдавил улыбку, но Нат не улыбнулся в ответ. Лицо у него было маленькое, бледное, осунувшееся. Идеальное лицо янки. Увидите тощего типчика, который всегда обгорает, а не загорает, чьи понятия об элегантности включают галстук-шнурочек и щедрую дозу «Вайтейлиса» в волосах — типчика, который по виду ни разу толком не посрал за три года, — так типчик этот почти наверняка родился и вырос к северу от Уайт-Ривер, Нью-Хэмпшир. А на смертном одре его последними словами почти наверняка будут: «Клюквенный соус».

— Не-а, — сказал я. — Не дергайся, Натти. Все в норме.

— Тебя исключат, — повторил он. Его щеки заливала тусклая кирпично-красная краска. — Вы со Скипом лучшие ребята, каких я знаю. В школе никого на вас похожего не было, то есть в моей школе, а вас исключат, и так это глупо!

— Никто меня не исключит, — сказал я.., но с прошлого вечера я допускал мысль, что это возможно. Я не просто «сползал» в опасную ситуацию, я уже по уши увяз в ней. — И Скипа тоже. Все под контролем.

— Мир летит в тартарары, а вас двоих исключат из-за «червей»! Из-за дурацкой хреновой карточной игры!

Прежде чем я успел что-нибудь сказать, он ушел. Отправился на север насладиться индейкой с начинкой по рецепту его мамы. А может быть, и исчерпывающей ручной работой Синди сквозь брюки. А почему бы и нет? Это же День Благодарения.

Глава 26

Я не читаю свои гороскопы, редко смотрю «Икс-файлы», ни разу не звонил «Друзьям парапсихологии», и тем не менее я верю, что мы все иногда заглядываем в будущее. И когда я днем затормозил перед Франклин-Холлом в стареньком «универсале» моего брата, я вдруг почувствовал: она уже уехала.

Я вошел. Вестибюль, в котором обычно сидели в пластмассовых креслах восемь-девять ожидающих джентльменов, выглядел странно пустынным. Уборщица в синем халате пылесосила ковер машинной работы. Девочка за справочным столом читала журнал и слушала радио. Не более и не менее, как»? и Мистерианс». Плачь, плачь, плачь, детка, 96 слез.

— Пит Рили к Кэрол Гербер, — сказал я. — Вы ее не вызовете? Она подняла голову, отложила журнал и одарила меня ласковым, сочувственным взглядом. Это был взгляд врача, который должен сказать вам: «Э.., сожалею.., опухоль неоперабельна. Не повезло, дружище. Налаживайте-ка отношения с Иисусом».

— Кэрол сказала, что ей надо уехать раньше. Она поехала в Дерри на скоростном «Черном медведе». Но она предупредила меня, что вы придете, и попросила передать вам вот это.

Она протянула мне конверт с моей фамилией, написанной поперек. Я поблагодарил ее и вышел из Франклина с конвертом в руке. Я прошел по дорожке и несколько секунд постоял у моей машины, глядя на Холиоук, легендарный Дворец Прерий и приют похабного человечка-сосиски. Ниже ветер гнал по Этапу Беннета шуршащие волны сухих листьев. Они утратили яркость красок; осталась бурость ноября. Канун Дня Благодарения, врата зимы в Новой Англии. Мир слагался из ветра и холодного солнечного света. Я опять заплакал. И понял это по теплу на моих щеках.

Я забрался в машину, в которой накануне вечером потерял свою девственность, и вскрыл конверт. Внутри был один листок. Краткость — сестра остроумия, сказал Шекспир. Если так, то письмо Кэрол было остроумно до чертиков.

Милый Пит,

Пусть нашим прощанием останется вчерашний вечер — что мы могли бы к нему добавить? Может я напишу тебе в университет, может, не напишу: сейчас я настолько запуталась, что попросту ничего не знаю. Э-эй, я еще могу передумать и вернуться!) Но, пожалуйста, позволь мне первой написать тебе, ладно? Ты сказал, что любишь меня. Если да, так позволь мне первой написать тебе. А я напишу, обещаю.

Кэрол

P. S. «Вчерашний вечер был самым чудесным, что когда-либо случалось в моей жизни. Если бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить.

P. P. S. Сумей прекратить эту глупую Карточную игру.

Она написала, что это было самым чудесным в ее жизни, но она не добавила «люблю». И только подпись. И все-таки... «сели бывает лучше, не понимаю, как люди способны остаться жить». Я понимал, о чем она. Перегнулся и потрогал сиденье там, где она лежала. Где мы лежали вместе.

«Включи радио, Пит. Я люблю старые песни». Я посмотрел на часы. К общежитию я подъехал загодя (быть может, сыграло роль подсознательное предчувствие), и только-только пошел четвертый час. Я вполне успел бы на автовокзал до того, как она уехала бы в Коннектикут.., но я не собирался этого делать. Она была права: мы ослепительно попрощались в моем старом «универсале», и все сверх того было бы шагом вниз. В лучшем случае мы бы просто повторили уже сказанное, в худшем — вымарали бы прошлый вечер в грязи, заспорив. «Нам нужна информация»...

Да. И мы ее получили. Бог свидетель, еще как получили! Я сложил ее письмо, сунул его в задний карман джинсов и поехал домой в Гейтс-Фоллс. Сначала мне все время туманило глаза, и я то и дело их вытирал. Потом включил радио, и музыка принесла облегчение. Музыка всегда помогает. Сейчас мне за пятьдесят, а музыка все еще помогает. Сказочное безотказное средство.

Глава 27

Я вернулся в Гейтс около пяти тридцати, притормозил, когда проезжал мимо «Фонтана», но не остановился. Теперь мне хотелось поскорее добраться до дома — куда больше, чем кружки шипучки и обмена новостями с Фрэнком Пармело. Мама встретила меня заявлением, что я слишком исхудал, а волосы у меня слишком длинные и что я «сторонился бритвы». Потом она села в свое кресло-качалку и всплакнула в честь возвращения блудного сына. Отец чмокнул меня в щеку, обнял одной рукой, а потом прошаркал к холодильнику налить стакан маминого красного чая. Его голова высовывалась из высокого ворота старого коричневого свитера, словно голова любопытной черепахи.

Мы — то есть мама и я — думали, что он сохранил двадцать процентов зрения или даже больше. Точно мы не знали, потому что он очень редко что-нибудь говорил. Результат несчастного случая в упаковочной, жуткого падения с высоты второго этажа. Левую сторону его лица и шеи испещряли шрамы; над виском была вмятина, где волосы больше не росли. Падение затемнило его зрение и воздействовало на психику. Но он не был «полным идьстом» — как выразился один говнюк в парикмахерской Гендрона, не был он и немым, как думали некоторые люди. Девятнадцать дней он пролежал в коме. А когда очнулся, почти перестал говорить, и у него в голове часто возникала путаница, но временами он был тут весь целиком, в полном наличии и сохранности. И когда я вошел, он был тут вполне достаточно, чтобы поцеловать меня и крепко обхватить одной рукой — его манера обнимать с тех пор, как я себя помнил. Я очень любил моего старика.., а после семестра за карточным столом с Ронни Мсилфантом я понял, что умение болтать языком — талант, сильно переоцениваемый.

Некоторое время я сидел с ними, рассказывал им кое-какие университетские истории (но не про охоту на Стерву), а потом вышел на воздух. Я сгребал опавшие листья в наступающих сумерках, ощущал холодный воздух на моих щеках как благословение, махал проходившим мимо соседям, а за ужином съел три гамбургера, приготовленных мамой. Потом она сказала мне, что пойдет в церковь, где дамы-благотворительницы готовят праздничное угощение для лежачих больных. Она полагала, что мне вряд ли захочется провести вечер в обществе старых куриц, но если я соскучился по кудахтанью, то мне будут рады. Я поблагодарил ее, но сказал, что, пожалуй, лучше позвоню Эннмари.

— Почему это меня не удивляет? — сказала она и ушла. Я услышал шум отъезжающей машины и без особой радости принудил себя подойти к телефону и позвонить Эннмари Сьюси. Через час она приехала в отцовском «пикапе» — улыбка, падающие на плечи волосы, пылающие помадой губы. Улыбка скоро исчезла, как вы, возможно, сами сообразили, и через пятнадцать минут после того, как Эннмари вошла в дом, она ушла из него и из моей жизни. Покедова, беби, пиши. Примерно в один месяц с «Вудстоком» [Фестиваль рок-музыки, состоявшийся 15–17 августа 1969 года и вылившийся в протест против войны во Вьетнаме.] она вышла замуж за страхового агента из Льюистона и стала Эннмари Джалберт. У них трое детей, и они все еще состоят в браке. Пожалуй, неплохо, ведь так? А если и нет, то вы все-таки должны признать, что это чертовски по-американски.

Я стоял у окна над мойкой и смотрел, как габаритные фонари «пикапа» мистера Сьюси удаляются по улице. Мне было стыдно за себя — черт, как расширились ее глаза. Как улыбка сползла с губ и они задрожали! — но, кроме того, я чувствовал себя говенно счастливым, омерзительно ликующим. Мне было так легко, что я готов был протанцевать вверх по стене и по потолку, наподобие Фреда Астера.

Позади меня послышались шаркающие шаги. Я обернулся и увидел отца — он шел своей черепашьей походкой, волоча по линолеуму ноги в шлепанцах. Он шел, выставив перед собой одну руку. Кожа на ней начала походить на большую, почти сваливающуюся перчатку.

— Я, кажется, слышал сейчас, как юная барышня назвала юного джентльмена занюханным мудаком? — спросил он мягким голосом, будто для препровождения времени.

— Ну-у.., да. — Я переступил с ноги на ногу. — Может, и слышал.

Он открыл холодильник, пошарил и достал кувшин с красным чаем. Он пил его без сахара. Я как-то тоже выпил этот чай в чистом виде и могу сказать вам, что у него почти нет вкуса. Согласно моей теории, отец всегда доставал красный чай, потому что он был в холодильнике самым ярким, и отец всегда знал, что именно он достает.

— Дочка Сьюси, верно?

— Да, пап, Эннмари.

— У всех Сьюси скверный норов. Пит. Она и дверью хлопнула, верно?

Я улыбнулся. Не мог удержаться от улыбки. Просто чудо, что из двери не вылетело стекло.

— Вроде бы хлопнула.

— Сменил ее в колледже на модель поновее, а? Сложный вопрос. Простым ответом — и в конечном счете, возможно, наиболее правдивым было бы «да нет». Я так и ответил.

Он кивнул, достал самый большой стакан из шкафчика рядом с холодильником, и мне показалось, что он вот-вот прольет чай на сервант и себе на ноги.

— Дай я налью, — сказал я. — Ладно?

Он не ответил, однако посторонился и позволил мне налить чай. Я вложил ему в руку на три четверти полный стакан, а кувшин убрал назад в холодильник.

— Хороший чай, пап?

Молчание. Он стоял, держа стакан обеими руками, точно маленький ребенок, и пил крохотными глоточками. Я подождал. Решил, что он не ответит, и взял из угла мой чемодан. Учебники я положил поверх одежды и теперь достал их.

— Будешь заниматься в первый вечер каникул? — сказал отец, заставив меня вздрогнуть: я почти забыл о его присутствии. — Это надо же!

— Я немножко отстал по паре предметов. Преподаватели там уходят вперед куда быстрее школьных учителей.

— Колледж, — сказал он. Долгая пауза. — Ты в колледже. Это прозвучало почти как вопрос, а потому я сказал:

— Ага, пап.

Он еще немного постоял там, словно бы следя, как я складываю стопками учебники и тетради. А может быть, и правда следил. Точно определить было невозможно. Наконец он зашаркал к двери, вытянув шею, приподняв защитную руку, а другая рука — со стаканом красного чая — была теперь прижата к груди. У двери он остановился и, не поворачивая головы, сказал:

— Хорошо, что ты от этой Сьюси избавился. Все Сьюси с норовом. Можно нарядить их, да только не пойти с ними куда-нибудь. Найдешь себе получше.

Он вышел, держа стакан прижатым к груди.

Глава 28

Пока мой брат с женой не приехали из Нью-Глостсра, я и правда занимался; одолел социологию наполовину и пропахал сорок страниц геологии — и все за три надрывающих мозг часа. К тому времени, когда я сделал перерыв, чтобы сварить кофе, во мне чуть-чуть зашевелилась надежда. Я отстал. Катастрофически отстал, но, может быть, все-таки не необратимо. Еще можно нагнать.

То есть если в будущем я сумею обходить стороной гостиную третьего этажа. В четверть десятого мой брат, который органически никуда до захода солнца не приезжает, въехал в ворота. Его жена восьмимесячной давности, щеголяя пальто с воротником из настоящей норки, несла пудинг, а Дейв — миску запеченной фасоли. Из всех людей на земле только мой брат был способен додуматься до того, чтобы везти запеченную фасоль из другого графства на семейное празднование Дня Благодарения. Он хороший парень, Дейв, мой брат, старше меня на шесть лет, и в 1966 году — бухгалтер в небольшой фирме, владевшей полудюжиной закусочных, специализировавшихся на гамбургерах. К 1996 году закусочных стало восемьдесят, а мой брат с еще тремя партнерами — владельцем фирмы. Он стоит три миллиона долларов — во всяком случае, на бумаге — и трижды шунтировался. Можно сказать, по шунтированию за каждый миллион.

Следом за Дейвом и Кэти в дом вошла мама, припудренная мукой, полная бодрости от сделанного доброго дела и вне себя от радости, что оба ее сына с ней. Начались веселые разговоры. Наш отец сидел в уголке, слушал, сам ничего не говорил, но улыбался, и его странные глаза с расширенными зрачками переходили с лица Дейва на мое и снова на лицо Дейва. Полагаю, его глаза откликались на наши голоса. Дейв спросил, а где Эннмари. Я ответил, что мы с Эннмари решили пока не встречаться. Дейв спросил, значит ли это, что мы... Но он не успел договорить — и его мать, и его жена наградили его теми женскими тычками, которые означают: «Не теперь, дружок, не теперь!» Увидев, как широко раскрылись мамины глаза, я понял, что попозже она тоже захочет задать мне вопрос-другой. А вероятно, и побольше. Маме была нужна ИНФОРМАЦИЯ. Матерям она всегда нужна.

Если не считать, что Эннмари обозвала меня мудаком и что время от времени я думал о том, что поделывает Кэрол Гербер (главным образом о том, что, может, она передумала и вернется в университет, и празднует ли она День Благодарения со стариной Салл-Джоном на его пути в армию), праздники прошли лучше некуда. В четверг и пятницу потоком шли родственники, наводняли дом, грызли индюшачьи ножки, смотрели футбол по телевизору и вопили в кульминационных моментах игры, кололи дрова для кухонной плиты (к вечеру субботы поленьев маме хватило бы, чтобы отапливать плитой весь дом до конца зимы, если бы ей вздумалось). После ужина мы ели пирог н играли в «эрудита». Гвоздем развлечений стала грандиозная ссора между Дейвом и Кэти из-за дома, который они планировали купить, — Кэти швырнула тапперуэром с остатками угощения в моего братца. За годы детства я получил немало тумаков от Дейва и с большим удовольствием смотрел, как пластмассовое вместилище тыквенного пирога отлетело от его виска. Потеха!

Но под всем приятным, под простой радостью, которую испытываешь, когда вся семья в сборе, прятался страх перед тем, что произойдет, когда я вернусь в университет. Я урвал час для занятий поздно вечером в четверг, после того как остатки пиршества были загружены в холодильник и вес отправились спать, и еще два часа во вторую половину дня в пятницу, когда между появлением очередных родственников образовался интервал, а Дейв с Кэти, временно придя к согласию, ушли «вздремнуть» (дремали они, мне показалось, очень шумно).

Я по-прежнему чувствовал, что могу нагнать, — не чувствовал, а твердо знал. Но еще я знал, что один не сумею, да и с Натом тоже. Мне надо было спариться с кем-то, кто понимал самоубийственную притягательность гостиной третьего этажа, знал, как закипает кровь, когда кто-то начинает ходить с пик в попытке подловить Стерву. С кем-то, кто понимал первобытный восторг, когда удавалось оставить Ронни с la femme noire.

Значит, Скип, решил я. Даже если Кэрол вернется, понять вот так она не сможет. Нет, это мы со Скипом должны вынырнуть из омута и поплыть к берегу. Я решил, что вместе мы сумеем. Не то чтобы меня так уж заботил он. К субботе я успел покопаться у себя в душе и понял, что главным образом пекусь о себе, что главным образом меня заботит Номер Шестой. Если Скип хотел использовать меня, прекрасно. Потому что я-то, безусловно, хотел использовать его.

К полудню субботы я вчитался в геологию настолько, что одно мне стало совершенно ясно; я нуждаюсь в помощи, чтобы разобраться в некоторых понятиях, — и срочно. До конца семестра меня подстерегали еще только два серьезных камня преткновения — ряд зачетов и экзамены. Чтобы сохранить стипендию, мне необходимо было сдать их по-настоящему хорошо.

Дейв и Кэти уехали вечером в субботу около семи часов, все еще переругиваясь (но чаще в шутку) из-за дома, который собирались купить в Полунале. Я устроился за кухонным столом и начал читать в учебнике социологии про внегрупповые санкции. Сводилось все это, видимо, к тому, что и последним идиотам требуется на кого-то срать. Идея не из утешительных, Потом я осознал, что в кухне не один. Поднял глаза и увидел, что передо мной стоит мама в стареньком розовом халате и ее лицо призрачно белеет от крема «Пондс». Меня не удивило, что я не услышал, как она вошла. Прожив в этом доме двадцать пять лет, она наперечет знала все скрипучие двери и половицы. Я решил, что она наконец собралась допросить меня об Эннмари, но тут же выяснилось, что мои сердечные дела занимают ее меньше всего.

— Насколько скверно твое положение. Пит? У меня в голове промелькнула сотня возможных ответов, но я выбрал правду:

— Толком не знаю.

— Но есть что-то одно, самое главное?

На этот раз я правды не сказал и, вспоминая, понимаю, откуда взялась ложь: что-то во мне, враждебное моим лучшим интересам, но очень сильное, все еще сохраняло за собой право пригнать меня к самому краю обрыва.., и заставить шагнуть с него вниз.

«Угу, мам, моя беда — гостиная третьего этажа, моя беда — карты. Две-три партии, говорю я себе всякий раз, а когда смотрю на часы, они показывают без малого полночь, и от усталости я уже не могу сесть заниматься. Черт, до того увяз, что не могу заниматься. За всю осень, если не считать игры в «червей», я сумел только потерять мою девственность».

Скажи я вслух хотя бы первую половину, думаю, вышло бы что-то вроде отгадки многосоставного имени злого карлика и произнесения этого имени вслух. Но я вообще ничего этого не сказал, а объяснил ей, что все дело в особенностях занятий в университете: надо осваивать новые методы, преодолевать старые привычки. Но я могу со всем этим справиться. И справлюсь.

Она постояла еще немного, почти по локти засунув руки в рукава халата (в этой позе она походила на китайского мандарина), а потом сказала;

— Я буду всегда любить тебя. Пит. И твой отец тоже. Он этого не говорит, но он это чувствует. И он, и я. Ты ведь знаешь.

— Угу, — сказал я. — Знаю. — Я вскочил и крепко се обнял. Рак поджелудочной железы, вот что ее убило. Пусть и быстрый рак. И все-таки недостаточно быстрый. Думаю, когда речь идет о тех, кого ты любишь, быстрых раков не бывает.

— Но тебе надо заниматься очень прилежно. Мальчики, которые занимались кое-как, умирают. — Она улыбнулась. Не очень веселой улыбкой. — Наверное, ты сам это знаешь.

— Что-то такое слышал.

— Ты все еще растешь, — сказала она, откинув голову.

— Не думаю.

— Да-да. Не меньше, чем на дюйм с прошлого лета. А твои волосы! Почему ты не стрижешь их?

— Мне нравится так.

— Они же длинные, как у девушек. Послушай моего совета, Пит, постригись. Надо выглядеть прилично. В конце концов ты же не кто-то из этих «Роллинг Стоунз» и не Херманз Хермит.

Я расхохотался. Не сумел сдержаться.

— Мам, я подумаю об этом, договорились?

— Обязательно подумай. — Она еще раз крепко меня обняла, потом отпустила. Вид у нее был усталый, но я подумал, что тем не менее она очень красива. — За морем мальчиков убивают, — продолжала она. — Сначала я думала, что на это есть веские причины, но твой отец говорит, что это чистое безумие, и мне теперь кажется, что он не так уж не прав. Занимайся изо всех сил. Если нужны деньги на учебники — или репетитора, — мы наскребем.

— Спасибо, мам. Ты прелесть.

— Как бы не так! Просто старая кляча с усталыми ногами. Я пошла спать.

Я позанимался еще час, потом слова стали двоиться и троиться у меня в глазах. И я тоже пошел спать. Но уснуть не мог. Едва я задремывал, как начинал разбирать по мастям сдаваемые мне карты. В конце концов я позволил моим глазам открыться и уставиться в потолок. «Мальчики, которые занимались кое-как, умирают», — сказала моя мать, а Кэрол сказала мне, что сейчас отличное время для девушек, Линдон Джонсон об этом позаботился.

«Травим Стерву!»

«Сдача налево, направо?»

«Ох, черт, засранец Рили сшибает луну!»

Голоса у меня в голове. Голоса, словно сочащиеся из воздуха.

Бросить играть — это был единственный разумный выход из моих трудностей, но гостиная третьего этажа, хотя и находилась в ста тридцати милях к северу от моей кровати, все еще имела надо мной власть, никак не подчиняющуюся законам разума или самосохранения. Я набрал двенадцать очков в круговом турнире; теперь меня опережал только Ронни с пятнадцатью. Я не представлял себе, как это я махну рукой на эти двенадцать очков, выйду из игры и расчищу дорогу трепачу Мейлфанту. Кэрол помогла мне увидеть Ронни в верном свете — тем скользким, мелкотравчатым, прыщавым коротышкой, которым он был. Теперь, когда она уехала...

«Ронни тоже скоро уберется оттуда, — вмешался голос разума. — Если он продержится до конца семестра, это будет неслыханным чудом. Сам знаешь».

Святая истина. А до этого у Ронни не остается ничего, кроме «червей», верно? Неуклюжий, кособрюхий, со щуплыми руками — готовый старик. Он задирается, пряча чудовищное ощущение своей неполноценности. Его россказни про девушек были смехотворны. Кроме того, он не блистал способностями в отличие от некоторых ребят, которым грозило исключение (таких, как, например, Скип Кирк). «Черви» и пустое бахвальство — вот и все, в чем Ронни преуспевал, насколько я мог судить. Так почему не остаться в стороне, а он пусть режется в карты и треплется, пока еще может?

А потому, что я не хочу, вот почему. Потому что я хочу стереть ухмылку с его пустого прыщавого лица, оборвать его нестерпимое гогочущее ржание. Конечно, это было скверно, но это была правда. Больше всего Ронни мне нравился, когда он злился, когда свирепо глядел на меня из-под свалившихся на лоб слипшихся прядей и выпячивал нижнюю губу.

А кроме того — сама игра. Я играл в нее с упоением. Даже здесь, в кровати моего детства, я не переставал думать о ней. Так как же я смогу удержаться и не войти в гостиную, когда вернусь? Как я смогу пропустить мимо ушей вопль Марка Сснт-Пьера, чтобы я поторопился: есть свободное место. Счет у всех нулевой, и игра сейчас начнется? О черт!

Я все еще не спал, когда кукушка на часах в гостиной под моей комнатой прокуковала два раза. Тут я встал, набросил старый халат поверх майки и трусов и спустился вниз. Налил себе стакан молока и сел с ним за кухонный стол. Не горела ни одна лампа, и светилась только флюоресцентная полоска над плитой; не слышалось ни единого звука, кроме посвиста в поддуве плиты и мягкого похрапывания моего отца в задней спальне. Я словно чуть-чуть свихнулся, словно сочетание индейки с зубрежкой вызвало у меня в голове легкое землетрясение. И ощущение было такое, что заснуть я сумею.., ну, где-то около Дня Святого Патрика [17 марта.].

Я случайно поглядел в сторону черного хода. Там с одного из крючков над ящиком для поленьев свисала моя школьная куртка, та, у которой на груди был большой белый вензель Г. Ф. Ничего, кроме инициалов нашего городка, — в спорте я ничем не отличался. Когда Скип в начале нашего знакомства в университете спросил, есть ли у меня какие-нибудь буквы — свидетельства моих достижений в той или иной области, я сообщил ему, что имею большое «О» за онанизм — игрок высшего разряда, славлюсь короткими частыми перехватами. Скип хохотал до слез, и, возможно, именно тогда мы стали друзьями, Правду сказать, я мог бы получить большое «Д» за дебаты или драматическое искусство, но ведь за такое букв не присваивают, верно? Ни тогда, ни теперь, В эту ночь школа представлялась мне неизмеримо далеким прошлым — почти в другой солнечной системе.., но передо мной висела куртка, подарок моих родителей ко дню моего рождения, когда мне исполнилось шестнадцать. Я пошел и снял ее с крючка. Прижал к лицу, вдохнул ее запах и вспомнил класс и мистера Мизенсика в нем — горький аромат карандашных стружечек, девочки тихонько похихикивают и перешептываются, снаружи доносятся крики с площадки, где наши спортсмены играют с командой клуба «Римедиал Волейбол». Я заметил, что там, где куртка была зацеплена за крючок, сохранилась выпуклость. Наверное, с предыдущего апреля или мая чертову куртку не надевал никто, даже мама, когда выходила в ночной рубашке забрать почту.

Я вспомнил замороженное в типографских пятнышках лицо Кэрол, затененное плакатом «США, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА СЕЙЧАС ЖЕ!», «конский хвост» ее волос на воротнике ее школьной куртки.., и меня осенило.

Наш телефон, бакелитовый динозавр с вращающимся диском, стоял на столике в прихожей. В ящике под ним хранилась телефонная книга Гейтс-Фоллса, мамина адресная книжка и всевозможные письменные принадлежности. Среди них был черный маркер для меток на белье. Я вернулся с ним к кухонному столу и сел. Разложил школьную куртку на коленях, а потом маркером нарисовал на се спине большой воробьиный следок. Пока я трудился над ним, мои мысли расслабились. Мне пришло в голову, что я сам могу присвоить себе свою букву, чем я и занялся.

Кончив, я поднял куртку за плечи и посмотрел. В слабом белом сиянии флюоресцентной полоски мой рисунок выглядел грубым, вызывающим и почему-то детским:

Но мне он понравился. Мне понравился этот хрен оттраханный. Даже тогда я толком еще не знал, что думаю о войне, но этот воробьиный следок мне очень понравился. И я почувствовал, что если засну, то хоть в этом он мне помог. Я ополоснул стакан и пошел наверх с моей курткой под мышкой. Сунул ее в стенной шкаф и лег. Я думал о том, как Кэрол положила мою руку себе под кофточку, о вкусе ее дыхания у меня во рту. Я думал о том, как мы были сами собой за запотевшими стеклами моего старенького «универсала», и, может быть, это были самые лучшие мы. Думал о том, как мы смеялись, когда стояли и смотрели, как ветер гонит обрывки моей голдуотерской наклейки по асфальту автостоянки. Я думал об этом, когда уснул.

В воскресенье, возвращаясь в университет, я увез мою модифицированную школьную куртку с собой, только упаковав ее в чемодан — несмотря на свои только что высказанные сомнения относительно войны мистера Джонсона и мистера Макнамарры, моя мама не поскупилась бы на вопросы о воробьином следке, а у меня не было ответов на них. Пока не было.

Однако я чувствовал себя вправе носить эту куртку, и я ее носил. Обливал ее пивом, обсыпал сигаретным пеплом, блевал на нее, вымазывал кровью, и она была на мне, когда в Чикаго я попробовал слезоточивого газа, пока орал во всю силу своих легких: «Весь мир видит это!» Девушки плакали на сплетенных Г и Д с левой стороны ее груди (на старших курсах эти буквы из белых давно стали замусоленно серыми), а одна девушка лежала на ней, пока мы занимались любовью. Мы занимались ею, не предохраняясь, так что на стеганой подкладке могут быть и следы спермы. К тому времени, когда я собрал вещички и покинул поселок ЛСД в 1970 году, знак мира, который я нарисовал на ней в кухне моей матери, превратился в неясную тень. Но тень сохранилась. Другие могли ее и не видеть, но я никогда не забывал, что она такое.

Глава 29

После Дня Благодарения в воскресенье мы вернулись в университет в следующем порядке: Скип в пять (он жил в Декстере, и из нас троих ехать ему было ближе всего), я в семь, а Нат около девяти. Даже не распаковав чемодан, я позвонил в Франклин-Холл. Нет, сказала мне дежурная, Кэрол Гербер не вернулась. Ей явно не хотелось отвечать на другие вопросы, но я не отставал. У нее на столе лежат две розовые карточки «УШЛА ИЗ УНИВЕРСИТЕТА», сказала она. И на одной фамилия Кэрол и номер ее комнаты.

Я сказал «спасибо» и повесил трубку. Постоял с минуту, туманя воздух телефонной будки сигаретным дымом, потом повернулся. По ту сторону коридора за одним из карточных столиков сидел Скип и подбирал слетевшую на пол взятку.

Я иногда задумываюсь, не пошло ли бы все иначе, если бы Кэрол вернулась в университет или даже если бы я приехал раньше Скипа и успел бы поговорить с ним, пока чары гостиной третьего этажа не завладели им. Но я приехал позже.

Я стоял в телефонной будке, курил «пелл-меллку» и очень жалел себя. Затем кто-то по ту сторону коридора завопил:

— Хрен, нет! Не может, мать твою, блядь!

На это Ронни Мейлфант (из телефонной будки он виден не был, но это его голос, единственный в своем роде, точно звук пилы, вгрызающейся в сучок соснового бревна) злорадно проверещал в ответ:

— Э-эй, гляньте-ка: Рэнди Эколлс получает первую Стерву эпохи после Дня Благодарения.

«Не ходи туда, — сказал я себе. — Если пойдешь, то полностью обложишься. Обложишься раз и навсегда».

Но, конечно, я пошел. Столы были все заняты, но трое ребят — Билли Марчант, Тони ДеЛукка и Хью Бреннен — стояли, следя за игрой. Если бы мы захотели, то могли бы занять один из углов.

В сигаретном дыму Скип поднял голову от своих карт и шлепнул ладонью о мою ладонь.

— Добро пожаловать в психушку. Пит.

— Эй! — сказал Ронни, оглядываясь. — Поглядите-ка, кто тут! Единственная жопа в этой дыре, боле-мене понимающая в игре. Где был, Блевотинка?

— В Льюстоне, — ответил я. — Трахал твою бабушку. Ронни закудахтал, его прыщавые щеки покраснели. Скип глядел на меня очень серьезно, и, может быть, в его глазах что-то было. Точно не скажу. Время проходит, Атлантида глубже и глубже погружается в океан, и вот уже ловишь себя на романтизировании. На мифотворчестве. Может, я увидел, что он сдался, что он намерен сидеть здесь и играть в карты, а там будь что будет; и может, он давал мне разрешение идти своей дорогой. Но мне было восемнадцать, и я был похож на Ната куда больше, чем готов был признаться себе. И у меня никогда еще не было такого друга, как Скип. Скип был бесстрашен; Скип матерился на каждом втором слове; когда Скип ел во Дворце, девушки не могли оторвать от него глаз. Он был для них тем магнитом, каким Ронни бывал только в самых своих поллюционных снах. Однако что-то в Скипе не находило себе места, что-то вроде осколка кости, который после многих лет безобидных блужданий может проколоть сердце или закупорить сосуд в мозгу. И он знал об этом. Даже тогда, когда школьные годы еще липли к нему, точно послед, и он все еще думал, что каким-то образом кончит учителем истории и тренером школьной бейсбольной команды, он знал это. А я любил его. Его внешность, его улыбку, походку, манеру говорить. Я любил его и не захотел его оставить.

— Ну как? — сказал я Билли, Тони и Хью. — Хотите поучиться, ребятишки?

— Пять центов очко! — сказал Хью, закулдыкав, как индюк. Да он и был индюком. — Пошли! Потасуем и сдадим!

Очень скоро наша четверка уже сидела в углу, отчаянно дымила, а карты так и порхали. Я помнил, как отчаянно зубрил под конец каникул; помнил, как мама сказала, что мальчики, которые занимаются кое-как, теперь умирают. Я помнил все это, но оно отодвинулось далеко в прошлое, как и мы с Кэрол в моей машине, когда «Плоттеры» пели «Время сумерек».

Я поднял голову и увидел, что в дверях, опираясь на костыли, стоит Стоук Джонс и глядит на нас с обычным невозмутимым презрением. Его черные волосы казались гуще, чем прежде, круче завивались над ушами, тяжелее падали на ворот фуфайки. Он непрерывно сопел, с носа свисала капля, глаза слезились, но в остальном он выглядел не хуже, чем до каникул.

— Стоук! — сказал я. — Как дела?

— Кто знает, — сказал он. — Возможно, лучше, чем у тебя.

— Валяй сюда, Рви-Рви, приволоки табуреточку, — сказал Ронни. — Мы тебя научим играть в эту игру.

— У вас мне учиться нечему, — сказал Стоук и захромал прочь. Мы услышали удаляющийся перестук костылей, краткий пароксизм кашля.

— Этот безногий педик меня жутко любит, — сказал Ронни. — Просто стесняется показать.

— Я тебе кое-что покажу, если ты не кончишь сдавать эти хреновы карты, — сказал Скип.

— Я осеня-осеня боюся, — сказал Ронни голосом Элмера Фадца. Смешным это казалось только ему одному. Он прижался головой к локтю Марка Сент-Пьера, изображая испуг.

Марк резко отдернул руку.

— Отвянь, твою мать. Рубашка совсем новая, Мейлфант, и гной из твоих прыщей мне на ней не требуется.

Прежде чем лицо Ронни озарила веселая улыбка и он закудахтал, я уловил стремительно промелькнувшую отчаянную боль. Но она оставила меня равнодушным. Проблемы Ронни могли быть подлинными, но симпатичнее они его не делали. Для меня он был просто хвастливым трепачом, который умел играть в карты.

— Ну же! — сказал я Билли Марчанту. — Сдавай! Я хочу еще успеть позаниматься.

Но, разумеется, в этот вечер никто из нас не занимался, Вместо того чтобы пройти за дни каникул, лихорадка стала только еще сильнее.

В начале одиннадцатого я пошел взять новую пачку сигарет и еще в коридоре за шесть дверей до нашей комнаты понял, что Нат вернулся. «Любовь пылает, где моя Розмари гуляет» доносилось из комнаты, которую Ник Праути делил с Барри Маржо, но еще дальше Фил Оке пел «Рэг призывника-отказника».

Почти внутри стенного шкафа Нат развешивал свою одежду. Не только он, насколько я знал, был единственным в университете, кто спал в пижаме, он был вдобавок единственным, кто пользовался плечиками. Сам я повесил в шкаф только мою школьную куртку. Теперь я вытащил ее и начал обшаривать карманы в поиске сигарет.

— Привет, Нат, как дела? Подкрепился маминым соусом под завязку?

— Я... — начал он, но тут увидел рисунок на спине куртки и расхохотался.

— Что такое? — спросил я. — Это так уж смешно?

— В некотором смысле, — сказал он и почти исчез в шкафу. — Вот посмотри!

Он вынырнул, держа в руках старый бушлат, и повернул его так, чтобы я увидел спину. На ней красовался воробьиный следок, гораздо более аккуратный, чем мой. Нат использовал серебряную клейкую ленту. Теперь захохотали мы оба.

— Два идиота — одна работа, — сказал я.

— Ерунда! Великие умы сходятся.

— И это означает то, что означает?

— Ну.., во всяком случае, то, что я думаю. А что теперь на уме у тебя, Пит?

— На каком еще уме? — спросил я.

Глава 30

Энди Уайт и Эшли Райе в университет не вернулись — итого восемь вон. Для нас, остальных, явная перемена к худшему наступила на протяжении трех дней перед первой зимней вьюгой. То есть явная для всех остальных. Для тех же, кто пылал в лихорадке, это выглядело всего лишь как шаг-другой к северу от нормального положения вещей.

До каникул карточные квартеты в гостиной в течение учебной недели имели тенденцию распадаться и составляться заново, а иногда и вовсе прекращали существование, пока игроки расходились на занятия. Теперь они оставались почти статичными. Перемены случались только, если кто-то, пошатываясь, отправлялся спать или менялся столом, чтобы оказаться подальше от карточной сноровки Ронни и его неумолчного злоехидного трепа. Такое постоянство объяснялось тем, что по большей части игроки третьего этажа вернулись не для получения дальнейшего образования; Барри, Ник, Марк, Харви — и не знаю, сколько еще — практически махнули рукой на занятия и вернулись только, чтобы продолжить борьбу за абсолютно бесполезные «турнирные очки». Многие ребята на третьем этаже Чемберлена теперь, по сути, занимались исключительно «червями». Как ни грустно, Скип Кирк и я входили в их число. В понедельник я посидел на двух лекциях, потом сказал «насрать» и на остальные не пошел. Во вторник я прогулял все, ночью во вторник играл в «черви» во сне (мне запомнился отрывок сна: я уронил Стерву и увидел, что у нес лицо Кэрол), потом всю среду играл наяву. Геология, социология, история.., названия, за которыми ничего не стояло.

Во Вьетнаме эскадрилья В-52 разбомбила скопление вьетконговцев под Донг-Хо. Кроме того, она умудрилась разбомбить роту военно-морской пехоты США, убив двенадцать и ранив сорок человек — тру-ля-ля, вляпались. А прогноз погоды на четверг — густой снег, переходящий к полудню в ледяной дождь. Мало кто из нас обратил внимание на этот прогноз. И уж, во всяком случае, у меня не было никаких причин предвидеть, что обещанный снегопад изменит направление моей жизни.

В среду я лег спать за полночь и спал тяжелым сном. Если мне снились «черви» или Кэрол Гербер, я этого не помню. Когда я проснулся в восемь утра в четверг, снег валил так густо, что я с трудом разглядел светящиеся окна Франклин-Холла напротив. Я принял душ, потом побрел по коридору посмотреть, началась ли игра. Один столик был занят. Ленни Дориа, Рэнди Экколс, Билли Марчант и Скип. Вид у всех был бледный, небритый и усталый, будто они просидели тут всю ночь. А может, и просидели. Я прислонился к косяку, следя за игрой. Снаружи в снегу происходило что-то куда интереснее. Но мы внутри узнали об этом только позже.

Глава 31

Том Хакеби жил в Кинге, втором мужском общежитии нашего комплекса. Века Оберт жила во Франклине. За последние три-четыре недели они очень подружились, а потому ходили в столовую вместе. В это снежное утро на исходе ноября они возвращались после завтрака и вдруг увидели, что на северной стене Чемберлен-Холла появилась надпись. Эта стена была обращена к остальному городку.., и, в частности, к Восточному корпусу, где большие корпорации вели собеседования на заполнение вакансий.

Они свернули туда, сошли с дорожки в снег — к тому времени его навалило примерно четыре дюйма.

— Погляди, — сказала Бека, кивая на снег. По нему тянулись странные следы — не отпечатки подошв, но словно бы борозды, а по их сторонам — пунктир глубоких кружков. Том Хакеби сказал, что это похоже на следы лыж и лыжных палок. Ни он, ни Бека не подумали, что следы эти мог бы оставить человек на костылях. То есть тогда не подумали.

Они подошли к стене общежития. Буквы были большие и черные, но к этому моменту снег валил так густо, что только с шагов десяти они сумели прочесть слова, которые кто-то набрызгал черной краской.., причем в состоянии полнейшего бешенства, если судить по корявости букв (опять-таки им не пришло в голову, что человек, когда он пишет струей краски из пульверизатора, одновременно удерживая равновесие на костылях, не может заботиться об аккуратности букв).

Надпись гласила:

Е... ый Джонсон! Президент-убийца! США, вон из Вьетнама сейчас же!

Глава 32

Я читал, что есть преступники — возможно, очень большое число преступников, — которые подсознательно хотят, чтобы их поймали. Думаю, именно так обстояло дело со Стоуком Джонсом. Ради чего бы он ни поступил в Университет Мэна, этого он явно там не нашел, Я думаю, он решил, что настало время уйти, а раз так, так перед этим он сделает наиболее внушительный жест, доступный человеку на костылях.

Том Хакеби направо и налево рассказывал, какая надпись украшает стену нашего общежития. Бека Оберт тоже языка за зубами не держала, и среди тех, с кем она поделилась новостью, была староста второго этажа Франклина, тощая, очень правильная девица по имени Марджери Статтенхеймер. К 1969 году Марджери стала видной фигурой в студгородкс — организатор и президент «Христиан за университетскую Америку». ХУА поддерживали войну во Вьетнаме, и их киоск в День Поминовения продавал булавки с флажками, которые приобрели такую популярность благодаря Ричарду Никсону.

По расписанию в четверг у меня было обеденное дежурство во Дворце Прерий, и хотя я прогуливал занятия, мне и в голову не пришло бы не выйти на рабочее дежурство — так уж я устроен. Я уступил мое место в гостиной Тони ДеЛукка и около одиннадцати отправился в Холиоук выполнять свои обязанности в посудомойной. Я увидел, что в снегу топчется большая толпа студентов и все смотрят на северную стену нашего общежития. Я пошел туда, прочел призыв и сразу понял, кто его написал.

На Беннет-роуд у дорожки, ведущей к боковой двери Чемберлена, стояли голубой седан Университета Мэна и одна из университетских полицейских машин. Там же стояла Марджери Статтенхеймер рядом с четырьмя университетскими полицейскими, мужским деканом и Чарльзом Эберсоулом, заместителем ректора по дисциплинарным вопросам.

У стены, когда я подошел туда, толпились человек пятьдесят; за пять минут, пока я стоял там, вытягивая шею, к ним добавились еще двадцать пять. А к тому времени, когда я в четверть второго кончил ополаскивать и составлять и зашагал назад в Чемберлен, там стояли и глазели уже человек двести, разбившись на небольшие кучки. Полагаю, теперь трудно поверить, что какое бы то ни было граффити могло привлечь столько народу, да еще в предельно дерьмовый день в смысле погоды, но мы тут говорим о совсем ином мире, том мире, в котором ни единый журнал в Америке (за исключением «Попьюлар фотографи», да и то крайне редко) не поместил бы нагую человеческую фигуру, до того нагую, что были бы видны волосы на лобке; где ни единая газета не посмела бы даже косвенно намекнуть на сексуальную жизнь политического деятеля. Это было до того, как Атлантида ушла на дно. Это было очень давно и очень далеко. В мире, где минимум один клоун угодил в тюрьму за матерное слово, произнесенное перед публикой, а другой заметил, что в «Шоу Эда Салливана» разрешалось упоминать о члене любого общества, но только не о его члене. Это был мир, где кое-какие слова еще не утратили способность шокировать.

Да, мы знали это слово. Само собой. Мы все время его произносили, добавляя тебя, твою собаку, пойди п... бись, с.., твою мать, да, мы так говорили. Но там, написанные черными буквами в пять футов высотой, были слова «Е... ый президент Соединенных Штатов!». Да еще «ПРЕЗИДЕНТ-УБИЙЦА!». Кто-то назвал президента Соединенных Штатов киллером! Мы просто не могли этому поверить.

Когда я шел назад из Холиоука, возле первой полицейской машины стояла вторая, и шестеро полицейских — почти весь состав чертовой университетской полиции, прикинул я — пытались закрыть надпись большим прямоугольником желтой парусины. Толпа роптала, потом насмешливо загудела. Полицейские раздраженно оглядывались. Один крикнул, чтобы они расходились, чтобы проваливали, им же всем есть куда пойти. Без сомнения, это было правдой, но подавляющему большинству их нравилось стоять прямо здесь — во всяком случае, толпа почти не поредела.

Полицейский, державший дальний левый конец парусины, поскользнулся на снегу и чуть не упал. Кое-кто из зрителей зааплодировал. Поскользнувшийся полицейский оглянулся, и на мгновение его лицо налилось черной ненавистью. Вот тогда-то для меня все и начало по-настоящему изменяться, вот тогда-то разрыв между поколениями начал по-настоящему шириться.

Поскользнувшийся полицейский отвернулся и снова начал возиться с парусиной. В конце концов она закрыла первый знак мира с «Е» в «Е... ЫЙ ДЖОНСОН!». И чуть Настоящее Нехорошее Слово исчезло, как толпа сама начала расходиться. Снег сменился ледяной крупой, и стоять там было очень неуютно.

— Поостерегись, чтобы легавые не увидели спину твоей куртки, — сказал Скип, и я оглянулся. Он стоял позади меня в куртке с капюшоном, глубоко засунув руки в карманы. Дыхание вырвалось из его рта морозными клубами; его взгляд не отрывался от полицейских и еще видной части надписи «ДЖОНСОН! ПРЕЗИДЕНТ-УБИЙЦА! США, ВОН ИЗ ВЬЕТНАМА СЕЙЧАС ЖЕ!». — Они решат, что это твоих рук дело. Или моих.

Чуть улыбнувшись, Скип повернулся ко мне спиной. Там на его куртке ярко-красными чернилами был нарисован еще один воробьиный следок.

— Черт! — сказал я. — Когда ты успел?

— Утром, — сказал он. — Увидел у Ната. — Он пожал плечами. — Сильно! Нельзя было не перерисовать.

— На нас они не подумают. Ни на секунду.

— Да, пожалуй.

Вопрос был в том, почему они уже не допрашивают Стоука.., хотя и не придется задавать ему так уж много вопросов, чтобы узнать правду. Но если Эберсоул, заместитель по дисциплинарным вопросам, и Гаррстсен, мужской декан, с ним еще не разговаривали, то потому лишь, что они еще не говорили...

— Где Душка? — спросил я. — Ты не знаешь? Крупа уже сыпалась вовсю, стучала по веткам деревьев и колюче секла каждый незащищенный дюйм кожи.

— Юный герой, мистер Душборн, присыпает песочком тротуары и дорожки с десятком своих дружков из РОТС, — сказал Скип. — Мы их видели из гостиной. Они разъезжают в настоящем армейском фургоне. Мейлфант сказал, что члены у них наверняка до того напряжены, что им неделю не придется спать на животе. По-моему, очень даже неплохо сказано для Ронни.

— Когда Душка вернется...

— Угу, когда вернется. — Скип пожал плечами, будто говоря, что тут мы ничего сделать не можем. — А пока выберемся-ка из этого дерьма и перекинемся в картишки. Что скажешь?

Я хотел сказать очень много об очень многом.., а с другой стороны — абсолютно не хотел. Мы вернулись на третий этаж, и к середине дня игра снова была в полном разгаре. Пять квартетов разыгрывали «подпартии», в комнате плавал сизый дым, а кто-то притащил проигрыватель, так что мы могли слушать Битлов и «Роллинг Стоунз». Кто-то еще принес исцарапанную пластинку «96 слез», и она без остановки крутилась по меньшей мере час: плачь, плачь, плачь. Из окна открывался широкий вид на Этап Беннета и Променад Беннета, и я все время туда поглядывал, не увижу ли, как Душборн и его дружки в хаки пялятся на северную стену общежития, быть может, обсуждая, пустить ли в ход против Стоука Джонсона их карабины или просто погоняться за ним со штыками. Но, конечно, ничего подобного они не сделают. Маршируя на футбольном поле, они могут выкрикивать в такт шагам: «Убей конга! Вперед, США'», но Стоук ведь калека. Они с радостью согласятся, чтобы его прокоммунистическую жопу просто вышибли из Университета Мэна.

Я этого не хотел, но не видел иного исхода. Стоук расхаживал с воробьиным следком на спине с самого начала занятий, задолго до того, как до нас, остальных, доперло, что означает этот знак, и Душка это знал. Плюс Стоук не станет отрицать. С вопросами декана и заместителя ректора он поступит, как со своими костылями — ринется прямо вперед.

Да и вообще все случившееся уже начало отступать куда-то вдаль, понятно? Как лекции. Как Кэрол — теперь, когда я понял, что она действительно не вернется. Как мысль о призыве и смерти в джунглях. Реальной же и неотложной казалась необходимость выгнать из кустов эту чертову Стерву или сшибить луну, единым махом обставив всех за твоим столом на двадцать шесть очков.

Реальными казались «черви».

Но затем произошло кое-что.

Глава 33

Около четырех часов крупа сменилась дождем, и к четырем тридцати, когда начало темнеть, мы увидели, что Этап Беннета залит водой глубиной в три-четыре дюйма. Почти весь Променад смахивал на канал. А под водой было ледяное тающее месиво вроде «Джелл-0».

Темп игры замедлился: мы наблюдали, как бедняги, дежурящие в посудомойной, пробираются от общежитии к Дворцу Прерий. Некоторые — самые разумные — шли напрямик вверх по склону, шлепая по быстро тающему снегу. Остальные брели по дорожкам, оскальзываясь на их предательской ледяной поверхности. От мокрой земли начал подниматься густой туман, и стало еще труднее выбирать, куда поставить ногу. Один парень из Кинга встретил девушку из Франклина там, где дорожки сливались. Когда они пошли рядом по Променаду Беннета, парень поскользнулся и уцепился за девушку. Они чуть было не шлепнулись, но все-таки сумели удержать общее равновесие. Мы зааплодировали.

За моим столом Ник, смахивающий на хорька приятель Ронни, сдал мне невероятные тринадцать карт, возможно, лучшие, какие мне когда-нибудь выпадали. Такого случая сшибить луну у меня еще не было: шесть старших червей, практически без мелких. Король и дама пик плюс старшие карты остальных двух мастей. И еще у меня была семерка червей, пограничная карта, но удобная, чтобы всучить взятку зазевавшемуся игроку. Ведь никто не ждет, что ты рискнешь сшибать луну в партии без сброса.

Ленни Дориа для начала пошел со Шприца. Ронни тут же воспользовался случаем избавиться от туза пик. Он счел, что ему подфартило. Но я тоже был рад. Теперь мой пиковый марьяж оказался старшим в масти. Дама означала тринадцать очков, но если я правильно разыграю червей, очки эти вместо меня скушают Ронни, Ник и Ленни.

Я позволил, чтобы взятку взял Ник. Еще три взятки мы разделили без последствий — сначала Ник, потом Ленни начали выбивать бубны, — а затем на трефовую взятку я получил десятку червей.

— Червячки поползли, и Рили скушал одного! — злорадно провозгласил Ронни. — Ляжешь на обе лопатки, деревня.

— Может, и так, — сказал я. А может, подумал я, Ронни Мейлфант скоро скушает свою улыбочку. Если все получится, я загоню идиота Ника Праути за сотню и отберу у Ронни партию, которую он прицелился выиграть.

Спустя три взятки мой маневр стал уже очевидным. Как я и надеялся, ухмылка Ронни сменилась выражением, которое я обожал видеть у него на лице, — обескураженной гримасой.

— Ничего у тебя не получится, — сказал он. — Не верю. Не в партии без сброса. Ни хрена у тебя не получится! — Тем не менее он знал, что такое не исключено. Это слышалось у него в голосе.

— Что же, посмотрим, — сказал я и пошел с туза червей. Теперь я действовал в открытую, но почему бы и нет? Если черви распределились поровну, я мог выиграть теперь же. — Вот посмотрим, что мы...

— Поглядите! — закричал Скип от столика, ближайшего к окну. В его тоне недоверие смешивалось с чем-то вроде восхищения. — Черт дери! Это засранец Стоукли!

Игра оборвалась. Мы все извернулись на стульях и поглядели на залитый дождем сумеречный мир внизу. Четверо ребят в углу повскакали на ноги. Старые фонари на чугунных столбах вдоль Променада Беннета слабо светили сквозь туман, так что я подумал о Лондоне: Тайн-стрит, Джек-потрошитель. Холиоук на холме больше чем когда-либо уподобился океанскому лайнеру. Он словно покачивался за пленкой дождевой воды, заливавшей окна гостиной.

— Засранец Рви-Рви поперся в такое дерьмо! Глазам своим не верю, — прошептал Ронни.

Стоук быстро двигался по дорожке, которая вела от северного входа в Чемберлен, туда, где со всеми остальными дорожками соединялась в самой нижней точке Этапа Беннета. На нем была его старая шинель, и было ясно, что он не сейчас вышел из общежития — шинель промокла насквозь. Даже сквозь скользящую пленку воды на стеклах можно было различить знак мира у него на спине, такой же черный, как слова, которые теперь были частично закрыты желтой парусиной (если она еще висела там). Его буйные волосы промокли до степени покорности.

Стоук ни разу не оглянулся на свое граффити «ПРЕЗИДЕНТ-УБИЙЦА», а просто нырял на костылях к Променаду Беннета. Никогда еще он не двигался так быстро, не замечая ни хлещущего дождя, ни сгущающегося тумана, ни месива под его костылями. Хотел ли он упасть? Бросал ли вызов дерьмовой снежной жиже, доказывая, что ей его не свалить? Не знаю. Вполне возможно, что он так погрузился в свои мысли, что не замечал ни как быстро он движется, ни гнусную погоду. Так или иначе, в подобном темпе он не мог уйти далеко.

Ронни захихикал, и этот звук разбежался во все стороны, будто искра по сухому труту. Я не хотел присоединяться к ре-готу, но ничего не смог с собой поделать. Да и Скип, как я заметил. Отчасти потому, что смех заразителен, но с другой стороны, зрелище действительно было смешным. Я знаю, как жесток был этот смех. Да, знаю. Но я зашел слишком далеко, чтобы прятать правду о том дне.., и об ЭТОМ дне, почти полжизни спустя. Потому что оно все еще кажется мне смешным, и я все еще улыбаюсь, когда вспоминаю, как он тогда выглядел. Отчаянно дергающаяся заводная игрушка в старой шинели, устремляющаяся вперед под проливным дождем на костылях, разбрызгивающих воду. Мы знали, что произойдет, просто знали. В том-то и заключалось смешное: сколько он все-таки сумеет пройти до неизбежного финала.

Ленни гоготал, прижимая ладонь к лицу, глядя сквозь растопыренные пальцы, а из глаз у него текли слезы. Хью Бреннен держался за довольно объемистый живот и ревел, как осел, увязший в грязи. Марк Сент-Пьер бессильно завывал и твердил, что сейчас обмочится — перепил колы и сейчас пустит струю в свои дерьмовые джинсы. Я так хохотал, что не удержал в руке карты; нервы моей правой руки парализовало, пальцы разжались, и заключительные выигрышные взятки рассыпались по моим коленям. В голове у меня стучало, нос совсем заложило.

Стоук добрался до конца ложбины, где начинался Променад. Там он остановился и по какой-то причине прокрутил почти полный оборот, словно балансируя на одном костыле. Другой костыль он держал на весу, будто автомат, будто в воображении осыпал градом пуль весь студгородок: «Убивай конговцев! Круши старост! На штык ублюдков из высших классов!»

— Иииии.., олимпийские судьи все дают ему.., десять очков! — провозгласил Тони ДеЛукка безупречным тоном спортивного комментатора. Это оказалось последней соломинкой, и гостиная тотчас превратилась в бедлам. Во все стороны взвихрились карты. Опрокидывались пепельницы, и одна из стеклянных (среди них преобладали небольшие алюминиевые) разлетелась вдребезги. Кто-то свалился со стула и принялся кататься по полу, дрыгая ногами. Черт, мы хохотали и просто не могли остановиться.

— Ну вот! — завывал Марк. — Я обмочил мои ливайсы! Ничего не мог поделать!

Позади него Ник Праути на коленях полз к окну, по его горящему лицу текли слезы, и он протягивал руки в безмолвном жесте человека, который пытается выговорить «прекратите, прекратите, пока в мозгу у меня не лопнул хренов сосуд и я не рухнул тут прямо».

Скип вскочил, опрокинув свой стул. И я вскочил. Сотрясая хохотом наши мозги, мы уцепились друг за друга и в обнимку доплелись до окна. Внизу, не зная, что на него, потешаясь, смотрят десятка два ополоумевших карточных игроков, Стоук Джонс все еще, всякому вероятию вопреки, оставался на ногах.

— Давай, Рви-Рви! — завел Ронни.

— Давай, Рви-Рви, — присоединился к нему Ник. Он добрался до окна и прижимался лбом к стеклу, все еще смеясь.

— Давай, Рви-Рви!

— Давай, детка!

— Давай!

— Наддай, Рви-Рви! Гони своих ездовых собачек!

— Работай костылями, малыш!

— Давай, хренов Рви-Рви!

Будто шли заключительные минуты футбольного матча при равном счете, только все вопили: «Давай, Рви-Рви!», а не «Отдай мяч!» или «Блокируй его!». Я не вопил, и Скип, по-моему, тоже, но мы смеялись, мы смеялись так же безудержно, как все остальные.

Внезапно мне вспомнился вечер, когда мы с Кэрол сидели на ящиках из-под молока за Холиоуком, тот вечер, когда она показала мне свое фото с друзьями ее детства.., а потом рассказала, что сделали с ней другие ребята. Что они сделали бейсбольной битой. «Начали они, я думаю, в шутку», — сказала Кэрол. И они смеялись? Уж наверное. Потому что так всегда бывает, когда валяешь дурака, веселишься — ты смеешься.

Стоук еще секунду постоял, где стоял, повиснув на костылях, опустив голову.., а затем атаковал склон холма, будто военно-морская пехота, высаживающаяся в Тараве. Он рванул вверх по Променаду Беннета, разбрызгивая воду бешеными взмахами костылей. Ощущение было такое, что смотришь на взбесившуюся утку.

Речитатив стал оглушительным:

— Давай, Рви-Рви! ДАВАЙ, РВИ-РВИ! ДАВАЙ, РВИ-РВИ!

«Начали в шутку, — сказала она, когда мы сидели там, на ящиках из-под молока, куря сигареты. К этому моменту она уже плакала, и ее слезы были серебряными в белом свете, падавшем на нас из окон столовой. — Начали они в шутку, а потом.., уже нет».

Эта мысль положила для меня конец шутке со Стоуком — клянусь, это так. И все-таки я не мог перестать смеяться.

Стоукли поднялся примерно на треть склона к Холиоуку, почти добрался до обнажившихся кирпичей Променада, и тут скольжение наконец взяло над ним верх. Он выбросил костыли слишком далеко вперед — слишком далеко вперед даже для сухой погоды — и когда качнул следом за ними свое тело, они вырвались из-под его мышек. Его ноги взметнулись вверх, будто ноги гимнаста, проделывающего какой-то легендарный переворот на бревне, и он упал на спину, взметнув тучи брызг. Всплеск мы услышали даже в своей гостиной на третьем этаже. Это был идеальный завершающий штрих.

Гостиная обрела сходство с сумасшедшим домом, все обитатели которого одновременно свалились с пищевым отравлением. Мы пошатывались, хохотали, хватались за горло, из наших глаз брызгали слезы. Я повис на Скипе, потому что ноги меня уже не держали, колени подгибались, как ватные. Я смеялся сильнее, чем когда-либо раньше, сильнее, мне кажется, чем когда-либо потом, и я все время думал о Кэрол — как она сидела рядом со мной на ящике из-под молока, скрестив ноги, с сигаретой в одной руке и фото — в другой. О Кэрол, говорящей: «Гарри Дулин бил меня... Уилли и тот, третий, держали, чтобы я не убежала.., сначала они шутили, по-моему, а потом.., уже нет».

Снаружи на Променаде Беннета Стоук пытался приподняться и сесть. Он частично извлек из воды свое туловище.., а затем откинулся и лег, будто ледяная, вся в комьях мокрого снега вода была постелью. Он поднял обе руки к небу в жесте, который был почти молением, потом бессильно их опустил. Эти три движения подводили итог всем, когда-либо сдававшимся: лечь на спину, вскинуть руки... — и двойной всплеск, когда они упали, раскинувшись по сторонам. Это было пределом: на хрена, делайте что хотите, я пас.

— Пошли, — сказал Скип. Он все еще смеялся, но был абсолютно серьезен. Я услышал серьезность в его смеющемся голосе, увидел ее в истерически сморщившемся лице. Я был ей рад. Господи, как я был ей рад. — Пошли, пока этот идиот-засранец не утонул.

Мы со Скипом выскочили в дверь гостиной плечо к плечу, спуртовали по коридору третьего этажа, сталкивались, как шарики в игорном автомате, шатались почти с таким же бессилием, как Стоук на дорожке. Почти все остальные побежали за нами. Единственный, кто, я твердо знаю, остался в общежитии, был Марк — он пошел к себе в комнату снять промокшие насквозь джинсы.

На площадке второго этажа нам встретился Нат — мы чуть было не столкнули его со ступенек. Он замер там с охапкой книг в пластиковом пакете и с тревогой смотрел на нас.

— Помилуй и спаси! — сказал он. Нат на высшей точке своего репертуара: «Помилуй и спаси!» — Что это с вами?

— Пошли! — сказал Скип. Голос у него так сел, что эти слова он еле просипел. Если бы я не был рядом с ним все эти минуты, то подумал бы, что он долго рыдал. — Не с нами, а с засранцем Джонсом. Он свалился. И ему требуется... — Скип умолк, потому что им овладел смех, и он снова затрясся, хватаясь за живот. Потом привалился к стене, закатывая глаза, измученный этим смехом. Он потряс головой, словно отгоняя его, но, конечно, нельзя прогнать смех, когда он хлопается в ваше любимое кресло и остается в нем, сколько ему заблагорассудится. Над нами по ступенькам застучали ноги спускающихся картежников третьего этажа. — Ему требуется помощь, — договорил Скип. Утирая глаза.

Нат смотрел на меня с возрастающим недоумением. — Если ему требуется помощь, так чего вы смеетесь? Я не мог объяснить ему. Черт, я и сам себе не мог объяснить. Я ухватил Скипа за локоть и дернул. Мы побежали по ступенькам на первый этаж. Нат побежал за нами. Как и все остальные.

Глава 34

Первое, что я увидел, когда мы вывалились из северной двери, был желтый прямоугольник парусины. Он лежал на земле, залитый водой с плавающими в ней комочками снега. Тут мне в кроссовки начала просачиваться вода, и я перестал оглядываться по сторонам. Подмораживало, и дождь колол мою беззащитную кожу иголками, которые частично состояли изо льда.

На Этапе Беннета воды было по щиколотку, и мои ноги уже немели от холода. Скип поскользнулся, я ухватил его за локоть, Нат поддержал нас обоих сзади и не дал упасть навзничь. Впереди послышался отвратительный звук — полукашель, полухрип. Стоук лежал в воде, будто набухшая коряга, по его бокам колыхалась шинель, а вокруг головы колыхалась черная грива волос. Кашель был надсадным, бронхиальным. При каждом пароксизме из его губ вырывались крохотные брызги. Один костыль лежал рядом с ним. Другой уплывал в сторону Беннет-Холла.

Вода накатывалась на бледное лицо Стоука. Его кашель переходил в придушенное бульканье. Глаза у него были устремлены прямо в дождь и туман. Казалось, он не заметил нашего появления, но когда я встал на колени с одного его бока, а Скип с другого, он начал отпихивать нас руками. Ему в рот затекла вода, и он, казалось, забился в судорогах. Он тонул у нас на глазах. Больше меня не тянуло смеяться, но с тем же успехом я мог бы и продолжать. «Сначала они шутили, — сказала Кэрол. — Сначала они шутили. Включи радио, Пит, я люблю старые песни».

— Поднимем его, — сказал Скип и ухватил Стоука за плечо. Стоук слабо хлопнул его рукой, как у восковой фигуры. Скип не обратил никакого внимания, может, даже не почувствовал. — Да побыстрее же. Бога ради.

Я ухватил Стоука за другое плечо. Он плеснул мне в лицо водой, словно бы мы валяли дурака в бассейне на чьем-то заднем дворе. Я поглядел поверх намокшего распростертого тела на Скипа. Он кивнул мне.

— Готовсь.., есть... ВЗЯЛИ!

Мы напряглись. Стоук частично поднялся над водой — от пояса вверх, — но и все. Меня поразил его вес. Рубашка выбилась у него из штанов и колыхалась в воде вокруг его талии, будто пачка балерины. Ниже я увидел его белую кожу и черную ямку пупка, точно продырявленную пулей. И еще там были шрамы, зажившие рубцы — путаница веревочек в узлах.

— Помоги, Натти! — прохрипел Скип. — Поддержи его, хрена ради!

Нат встал на колени, обдав водой всех нас, и обнял Стоука со спины. Мы старались вытащить его из ледяной похлебки, но теряли равновесие в скользком снежном месиве, и нам не удавалось объединить усилия. Полуутонувший Стоук тоже мешал нам, сотрясаясь от кашля, барахтаясь в попытке вырваться. Стоук хотел вернуться назад, в воду.

Подошли остальные во главе с Ронни.

— Хренов Рви-Рви, — пропыхтел он, все еще хихикая, но вид у него был ошарашенный. — Ну ты даешь, бля, ну и даешь!

— Да не стой столбом, дубина! — крикнул Скип. — Помоги нам!

Ронни еще помедлил, не злясь, а просто решая, как будет лучше всего, потом оглянулся проверить, кто еще пришел. Он поскользнулся, и Тони ДеЛукка, который тоже еще похихикивал, ухватил его и удержал на ногах. Они столпились на затопленном Променаде, все мои карточные приятели из гостиной третьего этажа, и почти все по-прежнему не могли удержаться от смеха. Они были похожи.., не знаю на что. Я так, наверное, и не узнал бы, если бы не рождественский подарок Кэрол., но, конечно, это было потом.

— Тони, ты, — сказал Ронни, — Брад, Ленни, Барри берем его за ноги.

— А я, Ронни? — спросил Ник. — А что я?

— Чтобы его поднимать, ты мелковат, — сказал Ронни, — но, может, он прочухается, если его пососут.

Ник попятился. Ронни, Тони, Брад и Барри Маржо проскользнули слева и справа от нас. Ронни и Тони подсунули руки под икры Стоука.

— Ох, черт! — взвизгнул Тони с омерзением и все еще почти смеясь. — Это надо же! Ноги, как у пугала!

— Ноги, как у пугала! Ноги, как у пугала! — злобно передразнил его Ронни. — Поднимай, мудак, итальяшка трахнутый, нимрод! Это тебе не выставка искусства. Ленни и Барри, подхватите его под обездоленную жопу вместе с ними. И сбросьте...

— ..когда другие ребята его поднимут, — докончил Ленни. — Усек. И не обзывай моего paisan [Здесь: земляк (исп.).] итальяшкой.

— Уйдите, — выкашлянул Стоук. — Прекратите, убирайтесь.., неудачники хреновы... — Он снова задохнулся в пароксизме кашля. Жуткие рвотные звуки. В свете фонаря его губы выглядели серыми и скользкими.

— Это кто же про неудачников вякает? — сказал Ронни. — Хренов полуутопший педик. — Он посмотрел на Скипа, из волнистых волос на прыщавое лицо стекала вода. — Командуй, Кирк.

— Раз.., два.., три... ВЗЯЛИ!

Мы выпрямились. Стоук Джонс появился из воды, как затонувший корабль, поднятый со дна. Мы зашатались под его тяжестью. Передо мной на мгновение повисла его рука, а затем скрепленная с ней кисть описала дугу и больно хлестнула меня по лицу. Бац! Я снова начал смеяться.

— Положите меня! Мудаки трахнутые, положите меня! Мы пошатывались, выделывали па в снежном месиве. С него стекала вода, с нас стекала вода.

— Эколлс! — заорал Ронни. — Марчант! Бреннен! Чтоб вам, да помогите, мудаки безмозглые, а?

Рэнди и Билли зашлепали к нам. И еще трое-четверо, привлеченные криками и всплесками (почти все любители «червей» с третьего этажа), ухватили Стоука. Мы неуклюже перевернули его — наверное, смахивая на самую фанатичную группу поддержки, по какой-то причине репетирующую под проливным дождем. Стоук перестал вырываться. Он неподвижно лежал на наших руках, его руки свисали справа и слева, ладони были повернуты вверх, точно чашечки, подставленные под дождь. Все уменьшающиеся каскады низвергались из его намокшей шинели и штанин. «Он взял меня на руки и отнес к себе домой, — сказала Кэрол, говоря о мальчике с ежиком коротких волос, мальчике, который был се первой любовью. — Нес всю дорогу вверх по Броуд-стрит в один из самых жарких дней года. Он нес меня на руках». Я не мог выбросить ее голос из головы. В каком-то смысле так никогда и не смог.

— Общежитие? — спросил Ронни у Скипа. — Тащим его в общежитие?

— Дьявол, не туда! — сказал Нат. — В амбулаторию.

Поскольку мы вытащили его из воды (а это была большая трудность и уже преодоленная), то амбулатория была именно тем, что требовалось. Она помещалась в маленьком кирпичном здании сразу за Беннет-Холлом, и до нее было триста — четыреста ярдов. Стоит нам выбраться с дорожки на асфальт проезда — и дальше идти будет нетрудно.

И мы отнесли его в амбулаторию — несли на высоте наших плеч, будто сраженного героя с поля брани. Кое-кто из нас еще испускал хихиканье или фыркал. В том числе и я. Один раз я перехватил взгляд Ната: он смотрел на меня так, будто я и презрения был недостоин, и я попытался подавить рвавшиеся наружу звуки. Несколько секунд я держался, а потом вспомнил, как он крутился на своем костыле («Олимпийские судьи все.., дают ему десять очков»), и начинал снова.

Пока мы несли Стоука вверх по склону к амбулатории, он заговорил всего раз.

— Дайте мне умереть, — сказал он. — Хоть разок в глупых все мне-мне-мне жизнях сделайте что-то стоящее. Положите меня и дайте мне умереть.

Глава 35

Приемная была пуста. Телевизор в углу демонстрировал старый эпизод «Золотого дна» неизвестно кому. В те дни они еще не умели толком настраивать цвет, и лицо папаши Картрайта было цвета свежего авокадо. Наверное, мы шумели, точно стадо бегемотов, выбирающихся на берег, и дежурная сестра сразу выбежала к нам. Следом за ней — санитарка (скорее всего студентка, отрабатывающая стипендию вроде меня) и щуплый тип в белом халате. На шее у него висел стетоскоп, а из уголка рта торчала сигарета. В Атлантиде курили даже доктора.

— Ну, что с ним? — спросил врач у Ронни, то ли потому, что Ронни выглядел главным, то ли потому, что он стоял к нему ближе всех.

— Шлепнулся на Этапе Беннета, когда шел в Холиоук, — ответил Ронни. — Чуть не утоп. — Помолчав, он добавил:

— Он безногий.

Словно в подтверждение этих слов Билли Марчант взмахнул костылем Стоука. Видимо, никто не позаботился подобрать второй.

— Опусти эту штуку, ты что, бля, хочешь мне мозги вышибить? — сердито спросил Ник Праути, стремительно наклонившись.

— Какие еще мозги? — откликнулся Скип, и мы все расхохотались так, что чуть не уронили Стоука.

— Отсоси у меня наискось, ослиная жопа, — сказал Ник, но он и сам смеялся. Врач нахмурился.

— Несите его вон туда, а свои выражения приберегите для своих сборищ.

Стоук снова закашлялся, басисто, надрывно. Так и казалось, что изо рта у него посыпятся сгустки крови, таким тяжелым был этот кашель.

Мы извивающейся змеей пронесли Стоука через приемную, но пройти сквозь дверь смотровой в таком строю не могли.

— Дайте-ка мне, — сказал Скип.

— Ты его уронишь, — сказал Нат.

— Нет, — сказал Скип. — Не уроню; только погодите, чтобы я ухватил покрепче.

Он встал рядом со Стоуком, потом кивнул мне справа и Ронни слева.

— Опускаем! — сказал Ронни, и мы послушались. Скип крякнул, приняв на себя всю тяжесть Стоука, и я увидел, как вздулись жилы на его шее. Потом мы попятились, Скип внес Стоука в смотровую и положил на стол. Тонкий бумажный лист, прикрывавший кожаную поверхность, сразу промок. Скип отступил на шаг. Стоук пристально смотрел на него со стола, лицо у него было смертельно бледным, если не считать двух красных пятен на скулах — красными, как румяна, были эти пятна. Вода ручейками стекала с его волос.

— Извини, — сказал Скип.

Стоук отвернул голову и закрыл глаза.

— Выйдите отсюда, — сказал врач Скипу. От сигареты он где-то избавился. Он оглядел нас, кучку из десятка мальчишек, большинство которых все еще ухмылялось, и со всех на пол приемной стекала вода. — Кто из вас знает, что у него с ногами? Эти сведения нужны для выбора медикаментов.

— Так это же что-то обычное, верно? — спросил Ронни. Оказавшись перед совсем взрослым человеком, он утратил визгливый апломб. Голос у него звучал неуверенно, даже опасливо. — Мышечный паралич или там церебральная дистрофия?

— Дурак ты, — сказал Ленни. — Дистрофия мышечная, а церебральный...

— Автомобильная катастрофа, — сказал Нат. Мы все оглянулись на него. Нат все еще выглядел аккуратным и безупречно подтянутым, хотя и промок насквозь. В этот день на нем была лыжная шапка городской школы Форт-Кента. Футбольная команда Мэна наконец-то забила гол и освободила Ната от голубой шапочки. «Давайте, «Черные Медведи!» — Четыре года назад. Его отец, мать и старшая сестра погибли. Он единственный уцелел из всей семьи.

Наступила тишина. Я заглядывал через плечи Скипа и Тони в смотровую. Стоук на столе все еще истекал водой, повернув голову набок, закрыв глаза. Сестра измеряла ему давление. Штанины облепляли ноги, и мне вспомнился парад Четвертого Июля у нас в Гейтс-Фоллсе, когда я был малышом. Позади школьного оркестра двигался Дядя Сэм ростом футов в десять, считая высокую звездную синюю шляпу, но когда ветер прижимал штанины к ногам, их секрет становился явным. Именно так выглядели ноги Стоука Джонса внутри мокрых штанин — трюком, скверной шуткой, подпиленными ходулями с насаженными на их концы кроссовками.

— Откуда ты знаешь, Натти? Он тебе рассказывал?

— Нет. — У Ната был пристыженный вид. — Он объяснил Гарри Суидорски после заседания комитета сопротивления. Они.., мы.., были в «Медвежьей берлоге». Гарри прямо спросил, что у него с ногами, и Стоук ответил.

Мне показалось, что я понял выражение на лице Ната. После заседания, сказал он. ПОСЛЕ. Нат не знал, о чем говорилось на совещании. Нат не был членом комитета сопротивления;

Нат был мальчиком на линии, и только. Он мог соглашаться с целями и тактикой комитета.., но ему надо было думать о своей матери. И о своем будущем стоматолога.

— Повреждение позвоночника? — спросил врач. Даже еще энергичнее.

— Кажется, да, — сказал Нат.

— Ну, ладно. — Врач начал махать на нас руками, словно мы были стаей гусей. — Отправляйтесь к себе в общежития. Мы о нем позаботимся.

Мы начали пятиться к двери приемной.

— А почему, ребята, вы смеялись, когда принесли его? — внезапно спросила сестра. Она стояла рядом с врачом, держа в руках манжету тонометра. — Почему вы ухмыляетесь сейчас? — Голос у нее был сердитый.., черт, голос у нее был полон ярости. — Что смешного в беде этого мальчика? Что вас так рассмешило?

Я не думал, что кто-нибудь ответит. Мы просто стояли и смотрели на свои переминающиеся ноги, осознав, что мы куда ближе к четвероклассникам, чем нам казалось. Но кто-то все-таки ответил. Скип ответил. Он даже сумел взглянуть ей в глаза.

— Его беда, мэм, — сказал он. — Вы правы: вот почему. Смешной была его беда.

— Как ужасно, — сказала она. В уголках се глаз поблескивали слезы гнева. — Как вы ужасны.

— Да, мэм, — сказал Скип. — Думаю, вы и тут правы. — Он отвернулся.

Мы поплелись за ним в приемную — мокрая приунывшая кучка. Не могу утверждать, что самой скверной моей минутой в университете была та, когда меня назвали ужасным («Если вы помните о шестидесятых много, значит, вас там не было», — как однажды сказал хиппи, известный под прозвищем Корявый Кудрявый), но не исключаю этого. В приемной все еще было пусто. Теперь на экране красовалась физиономия маленького Джо Картрайта — такая же зеленая, как у его папаши. Майкла Лэндона тоже убил рак поджелудочной железы — это было общим между ним и моей мамой.

Скип остановился. Ронни, опустив голову, прошел мимо него к двери. За ним шли Ник, Билли, Ленни и все остальные.

— Погодите, — сказал Скип, и они обернулись. — Я хочу кое о чем потолковать с вами, ребята.

Мы столпились вокруг него. Скип поглядел на дверь смотровой, убедился, что мы одни, и заговорил.

Глава 36

Десять минут спустя мы со Скипом шагали к общежитию в полном одиночестве. Остальные ушли вперед. Ват некоторое время держался наравне с нами, но затем, наверное, уловил из воздуха, что я хотел бы поговорить со Скипом с глазу на глаз. Нат всегда умел улавливать нюансы из воздуха. Держу пари, что он хороший стоматолог и что он особенно нравится детям.

— Я покончил с «червями», — сказал я.

Скип не отозвался.

— Не знаю, может, уже поздно нагнать, чтобы сохранить стипендию, но вес равно попытаюсь. Да и вообще мне все равно. Не в засранной стипендии дело.

— Да. Дело в них, верно? В Ронни и всех прочих.

— По-моему, они только часть. — Когда день угас, стало очень холодно. Холодно, сыро и мерзко. Ощущение было такое, что лето больше никогда не настанет. — Черт, мне не хватает Кэрол. Ну почему она должна была уйти?

— Не знаю.

— Когда он упал, начался настоящий сумасшедший дом, — сказал я. — Не студенческое общежитие, а дерьмовый сумасшедший дом.

— Ты тоже смеялся. Пит, как и я.

— Знаю, — сказал я. Возможно, будь я один, я бы не стал смеяться. И будь мы со Скипом вдвоем, так тоже, возможно, не стали бы, но как знать? От того, что произошло, никуда не денешься. А я все время вспоминал Кэрол и мальчишек с их бейсбольными битами. И вспоминал, как Нат посмотрел на меня, будто я и презрения недостоин. — Знаю.

Некоторое время мы шли молча.

— Думаю, жить с тем, что я смеялся над ним, я смогу, — сказал я, — но не хочу проснуться в сорок лет и ничего не вспомнить, когда мои дети начнут расспрашивать меня про университет. Ничего не вспомнить, кроме Ронни Мейлфанта с его польскими анекдотами и бедного мудака Макклендона, наглотавшегося детского аспирина, чтобы покончить с собой. — Я вспомнил, как Стоук Джонс крутился на своем костыле, и мне захотелось смеяться, вспомнил, как он лежал на столе в амбулатории, и мне захотелось заплакать. И знаете что? Насколько я могу судить, это было одно и то же чувство. — Просто мне из-за этого скверно. Совсем дерьмово.

— И мне, — сказал Скип. Вокруг хлестал дождь, пронизывающий и холодный. Окна Чемберлен-Холла светили ярко, но неприветливо. Я увидел на траве желтую парусину, которую полицейские присобачили к стене, а над ней смутные очертания букв, напыленных из пульверизатора. Их смывал дождь, и на следующий день от них почти ничего не осталось.

— Мальчишкой я всегда воображал себя героем, — сказал Скип.

— Черт, и я тоже. Какой мальчишка воображал себя в толпе линчевателей?

Скип посмотрел на свои промокшие ботинки, потом на меня.

— Можно я буду заниматься с тобой пару недель?

— Сколько захочешь.

— Ты правда не против?

— Какого хрена я должен быть против? — Я говорил ворчливо, потому что не хотел, чтобы он понял, какое облегчение я испытал, какая меня охватила радость. Потому что это могло сработать. Помолчав, я сказал:

— А это.., ну, то.., по-твоему, у нас получится?

— Не знаю. Может быть.

Мы почти дошли до северной двери, и я кивнул на смываемые буквы перед тем, как мы вошли.

— Может, декан Гарретсен и этот тип, Эберсоул, оставят дело без последствий? Краска Стоука ведь не успела засохнуть. К утру все смоет.

Скип покачал головой:

— Не оставят.

— Но почему? Отчего ты так уверен?

— Потому что Душка им не позволит. И, конечно, он оказался прав.

Глава 37

Впервые за много недель гостиная третьего этажа пустовала — пока промокшие картежники сушились и переодевались. Многие из них учли кое-что из того, что Скип Кирк говорил в приемной амбулатории. Однако когда Нат, Скип и я вернулись после ужина, в гостиной снова кипела жизнь — заняты были три столика.

— Эй, Рили, — сказал Ронни, — Туиллер говорит, что ему надо к завтрему позаниматься. Если сядешь на его место, я поучу тебя играть.

— Не сегодня, — сказал я. — Мне тоже надо заниматься.

— А как же! — сказал Рэнди Эколлс. — Искусством насилия над собой.

— Верно, деточка. Еще пара недель прилежных занятий, и я научусь менять руки плавно, вот как ты. Я пошел дальше, но тут Ронни сказал:

— Я ж тебя накрыл, Рили.

Я обернулся. Ронни развалился на стуле, улыбаясь этой своей мерзкой улыбочкой. Там под дождем в течение нескольких минут я видел другого Ронни, но тот мальчик снова исчез.

— Нет, — сказал я. — Ничего подобного. У меня все было на мази.

— Никто не сшибает луну в партии без сброса, — сказал Ронни, еще больше откидываясь на спинку. Он почесал щеку, содрав головки у пары прыщей. Из них засочился желтоватый крем. — Во всяком случае, за моим столом. Я тебя поймал на трефах.

— У тебя треф не было, если только ты не сжулил на первой взятке. Шприц Ленни ты взял тузом. А в червях у меня была вся королевская фамилия.

Улыбка Ронни на мгновение поблекла, затем снова расцвела. Он указал рукой на пол, с которого все карты были подобраны (окурки остались, перевернутые пепельницы остались — почти все мы росли в семьях, где это была мамина работа).

— Все старшие черви, так? Жаль-жаль, что проверить никак нельзя.

— Да, жаль. — Я снова пошел к двери.

— Ты отстанешь в турнирных очках! — крикнул он мне вслед. — Знаешь это?

— Можешь забрать их себе, Ронни. Мне они больше не нужны.

Больше в университете я в «черви» не играл. Много лет спустя я научил этой игре моих детей, и они ее сразу освоили. Каждый август в летнем коттедже мы устраивали турниры. Турнирных очков у нас не было, но имелся приз — чаша любви. Один раз ее выиграл я и поставил на письменный стол, чтобы постоянно видеть ее. В наших чемпионатах я дважды сшиб луну, но не в партии без сброса. Как мой старый университетский дружок Ронни Мейлфант сказал однажды: никто не сшибает луну в партии без сброса. С тем же успехом вы можете надеяться, что Атлантида поднимется из океана, помахивая пальмами.

Глава 38

В тот вечер в восемь часов Скип Кирк сидел за моим столом, погрузившись в учебник по антропологии. Обе пятерни он запустил в волосы, будто у него раскалывалась голова. Нат за своим столом писал работу по ботанике. Я растянулся на кровати, корпя над моей старой подружкой геологией. На проигрывателе кружила пластинка, и Боб Дилан пел: «Веселей хохотушки не знала долина, чем прабабушка мистера Клина». В дверь дважды резко постучали: «бам-бам».

— Собрание этажа! — крикнул Душка. — Собрание этажа в клубном зале в девять! Присутствие обязательно!

— О черт! — сказал я. — Сожжем секретные документы и съедим рацию.

Нат выключил Дилана, и мы услышали, как Душка идет по коридору, выстукивая «бам-бам!» на каждой двери и вопя про собрание в клубном зале. Скорее всего большинство комнат были пусты, но значения это не имело: их обитателей он найдет в гостиной за травлей Стервы.

Скип посмотрел на меня.

— Я же говорил, — сказал он.

Глава 39

Все общежития в нашем городке строились одновременно, и в каждом, помимо гостиных в середине этажа, имелось большое клубное помещение в полуподвале, включавшее альков с телевизором, где зрители в основном собирались по субботам и воскресеньям на спортивные программы, а в будние дни на мыльную оперу с вампирами под названием «Темные тени»; затем буфетный угол с полудюжиной автоматов; стол для пинг-понга и порядочное число шахмат и шашек. А также место для собраний с трибуной и несколькими рядами деревянных откидных стульев. У нас там было собрание этажа в начале учебного года, на котором Душка объяснял правила общежития и подчеркивал жуткие последствия неудовлетворительных комнатных проверок. Не могу не упомянуть, что проверки комнат были главным в жизни Душки. То есть наравне с РОТС.

Он стоял за маленькой деревянной трибуной, на которую положил тонкую папку. Думаю, с его заметками. Он все еще был в мокрой и грязной форме РОТС и выглядел усталым после целого дня разгребания снега и посыпания песком, и еще он выглядел возбужденным... «включенным», как мы называли это года два спустя.

На первом собрании этажа Душка был один, но на этот раз у него имелось подкрепление. У зеленой блочной стены, сложив руки на чинно сдвинутых коленях, сидел Свен Гарретсен, мужской декан. На протяжении всего собрания он не сказал почти ни слова и хранил вид благожелательности, даже когда атмосфера накалилась. Рядом с Душкой стоял в черном пальто поверх темно-серого костюма Эберсоул, заместитель ректора по дисциплине, и у него вид был самый деловой.

После того как мы расселись, а те из нас, кто курил, закурили, Душка сначала посмотрел через плечо на Гарретсена, потом на Эберсоула. Эберсоул чуть-чуть ему улыбнулся.

— Начинайте, Дэвид. Прошу вас. Это же ваши мальчики. Меня слегка пробрало. Я мог быть и таким, и сяким — в том числе дерьмом, способным смеяться над калеками, когда они падают в лужи под проливным дождем, — но только не мальчиком Душки Душборна...

Душка вцепился в край трибуны и поглядел на нас с торжественной суровостью, быть может, думая (в глубинном уголке его сознания, отведенном исключительно для сладких грез), что настанет день, когда он вот так обратится к своим штабным офицерам, чтобы привести в движение могучую армию, нацеленную на Ханой.

— Джонс исчез, — сказал он наконец. Это прозвучало зловеще и двусмысленно, будто реплика в фильме Чарльза Бронсона.

— Он в амбулатории, — сказал я и насладился удивлением на лице Душки. Эберсоул тоже как будто удивился. Гарретсен продолжал благожелательно смотреть куда-то перед собой, как человек, в меру нанюхавшийся.

— Что с ним такое? — спросил Душка. Это не входило в сценарий — ни в тот, который он разработал сам, ни в тот, который подготовили они с Эберсоулом, — и Душка начал хмуриться. И еще он крепче ухватился за трибуну, словно опасаясь, что она вспорхнет и улетит.

— Ее упадала и бум! — сказал Ронни и приосанился, услышав смех. — Кроме того, он вроде схватил пневмонию, или двусторонний бронхит, или что-то там такое. — Он перехватил взгляд Скипа, и мне показалось, что Скип слегка кивнул. Это было шоу Скипа, а не Душки, но если нам повезет — если повезет Стоуку, — троица перед нами никогда об этом не узнает.

— Ну-ка расскажите с самого начала, — сказал Душка. Он уже не просто хмурился, а горел яростью. Точно так же, как в ту минуту, когда обнаружил на своей двери крем для бритья.

Скип поведал Душке и новым друзьям Душки, как мы увидели из окна гостиной на третьем этаже, что Стоук направляется к Дворцу Прерий, как он упал в лужу, как мы вытащили его и отнесли в амбулаторию, как доктор сказал, что Стоук тяжело болен. Врач этого не говорил, но это было бы лишним. Те из нас, кто прикасался к коже Стоука, знали, что он весь горит, и все мы слышали его жуткий кашель. Скип промолчал о том, что Стоук рвался вперед так, словно хотел убить всех и вся, а затем умереть и сам, и он ничего не сказал о том, как мы смеялись — Марк Сент-Пьер так безудержно, что обмочил штаны.

Когда Скип кончил. Душка неуверенно покосился на Эберсоула. Эберсоул ответил ему недоуменным взглядом. У них за спиной декан Гарретсен продолжал улыбаться безмятежной улыбкой Будды. Намек был ясен. Это шоу Душки; и для него будет лучше, если это шоу хорошо подготовлено.

Душка перевел дух и снова уставился на нас.

— Мы считаем, что Стоукли Джонс виновен в вандализме и публичном нарушении нравственности, запачкавших северную стену Чемберлена сегодня утром. Точное время нам неизвестно.

Я сообщаю вам слово в слово то, что он сказал, не изменив ни единого. И если не считать «возникла необходимость уничтожить деревню, чтобы ее спасти», это, пожалуй, самый блистательный пример начальственного красноречия, какой я только встречал в своей жизни.

Полагаю, Душка ожидал, что мы заахаем и заохаем, как статисты в зале суда, где Перри Мейсон под занавес начинает все расставлять по своим местам. А мы молчали, Скип внимательно следил за Душкой и, когда тот снова набрал воздуха для следующей тирады, спросил:

— А почему ты думаешь, что это он, Душка? Хотя у меня нет полной уверенности — я никогда его об этом прямо не спрашивал, — но я не сомневаюсь, что Скип употребил это прозвище нарочно, чтобы еще больше вывести Душку из равновесия. Но так или нет, а оно сработало. Душка почти сорвался, посмотрел на Эберсоула и изменил тактику. Над его воротником появилась красная полоска. Я зачарованно наблюдал, как она ширится. Просто диснеевский мультфильм: Дональд Дак старается совладать со своей яростью. Знаешь, что это ему не удастся, и взвешиваешь, насколько его хватит, прежде чем он сорвется.

— Думаю, тебе известен ответ на этот вопрос, Скип, — наконец сказал Душка. — Стоукли Джонс носит верхнюю одежду с особым символом на спине. — Он схватил свою папку, достал лист бумаги, посмотрел на него, потом повернул так, чтобы мы все могли увидеть. Никто из нас не удивился тому, что было изображено на листе. — Вот этот символ. Он был изобретен коммунистической партией вскоре после окончания Второй мировой. Он означает «победу через инфильтрацию», и подрывные элементы называют его «Сломанный крест». Кроме того, он приобрел популярность у таких внутренних групп, как «Черные мусульмане» и «Черные пантеры». Поскольку на спине Стоука Джонса этот символ появился гораздо раньше, чем на стене нашего общежития, мне кажется, не требуются конструкторы ракет, чтобы...

— Дэвид, это же полное дерьмо! — сказал Нат, вставая. Он был бледен и дрожал, но больше от гнева, чем от страха. Слышал ли я когда-нибудь прежде, чтобы он сказал «дерьмо» прилюдно? По-моему, нет.

Гарретсен улыбнулся моему соседу по комнате благожелательнейшей улыбкой. Эберсоул поднял брови с вежливым интересом. Душка словно обалдел. Полагаю, уж от кого-кого, а от Ната Хоппенстенда он возражений не ожидал.

— Этот символ основан на английских военно-морских сигналах флагами и подразумевает ядерное разоружение. Его придумал знаменитый английский философ. По-моему, он даже получил «сэра». И говорить, будто его сочинили русские? Господи помилуй! И этому вас учат в РОТС, такому вот дерьму?

Нат гневно смотрел на Душку, уперев руки в бока. Душка пялился на него, окончательно сбитый с толку. Да, именно этому его учили в РОТС, и он заглотнул наживку целиком. Это наталкивало на вопрос: а чего еще наглотались ребята из РОТС?

— Полагаю, эти сведения о Сломанном Кресте очень интересны, — мягко вмешался Эберсоул, — и это полезная информация.., разумеется, если она точна.

— Точна-точна, — сказал Скип. — Берт Рассел, а не Джо Сталин. Английские ребята носили этот знак, когда пять лет назад протестовали против того, что в английских портах базируются атомные подлодки США.

— Блядский А! — крикнул Ронни и замахал кулаком над головой. Примерно год спустя или чуть позже Пантеры — которым, насколько мне известно, символ мира Бертрана Рассела был до лампочки — вот так же взмахивали кулаками на своих митингах. И, разумеется, двадцать лет спустя или еще дальше по линии времени все мы, подмытые детки шестидесятых, проделывали то же на рок-концертах. «Брюууууу-уууус! Брюууууууус!»

— Давай, детка! — со смехом добавил Хью Бреннен. — Давай, Скип! Давай, большой Нат!

— Не выражайся в присутствии декана! — рявкнул Душка на Ронни.

Эберсоул проигнорировал и похабщину, и выкрики с галерки. Его полный интереса и скептичности взгляд был устремлен на моего соседа по комнате и на Скипа.

— Даже если все это правда, — сказал он, — проблема все равно остается, не так ли? Думаю, что так. Акт вандализма и публичного нарушения нравственности остается. И он имел место в дни, когда налогоплательщики смотрят на учащуюся молодежь еще более взыскательным взглядом. А существование этого учебного заведения, господа, зависит от налогоплательщиков. И мне кажется, что нам всем подобает...

— Подумать об этом! — внезапно прокричал Душка. Щеки у него к этому моменту почти полиловели, по лбу пошли жуткие красные пятна, будто клейма, а прямо между глаз быстро пульсировала вздувшаяся артерия.

Прежде чем Душка успел сказать что-нибудь еще — а у него, видимо, имелось много чего сказать, — Эберсоул прижал ладонь к его груди, будто зажимая ему рот. Душка сразу съежился. У него был его шанс, но он все испортил. Позднее он, возможно, скажет себе, что причиной была усталость. Пока мы проводили день в тепле гостиной, играя в карты и протирая дыры в нашем будущем. Душка снаружи разгребал снег и посыпал песком дорожки, чтобы старенькие профессора психологии не падали и не ломали бы ноги. Он устал, утратил быстроту реакции.., да и в любом случае этот мудак Эберсоул не дал ему законной возможности показать себя. Только в данный момент от всего этого толку было мало — его оттерли на задний план. Вернувшиеся взрослые опять всем распоряжались. Папочка все уладит.

— Мне кажется, всем нам подобает определить виновного и позаботиться, чтобы он был наказан с надлежащей строгостью, — продолжал Эберсоул. Смотрел он главным образом на Ната. Как ни удивительно казалось мне это тогда, но он определил в Нате фокус сопротивления, которое ощущал вокруг.

Нат, да благословит Бог его глазные зубы и зубы мудрости, был вполне в силах противоборствовать таким, как Эберсоул. Он продолжал стоять, упирая руки в бока, и его взгляд ни разу не дрогнул, и уж тем более он не отвел глаз под взглядом Эберсоула.

— И как вы предполагаете это сделать? — спросил Нат.

— Как вас зовут, молодой человек? Скажите, будьте так добры.

— Натан Хоппенстенд.

— Так вот, Натан, я считаю, что виновный уже указан, не так ли? — Эберсоул говорил с терпеливостью преподавателя. — А вернее, сам на себя указал. Мне сказали, что этот бедняга Стоукли Джонс носил на спине символ Сломанного Креста с самого...

— Перестаньте так его называть! — сказал Скип, и я даже подскочил, такое бешенство было в его голосе. — Ничего сломанного в нем нет. Это знак мира, черт возьми!

— А ваше имя, сэр?

— Стэнли Кирк, Скип для друзей. Вы можете называть меня Стэнли. — Это вызвало придушенные смешки, которых Эберсоул словно не услышал, — Что же, мистер Кирк, ваша семантическая придирка учтена, но она не меняет того факта, что Стоукли Джонс — и один только Стоукли Джонс с первого дня семестра демонстрировал указанный символ на территории университета. Мистер Душборн сообщил мне...

— Мистер Душборн, — сказал Нат, — понятия не имеет о знаке мира и его происхождении, а потому, мне кажется, вы напрасно так уж доверяете тому, что он вам сообщает. Например, мистер Эберсоул, на спине моей куртки я тоже ношу знак мира, так откуда вы знаете, что не я брызгал краской на стену?

У Эберсоула отвисла челюсть. Не слишком, но достаточно, чтобы подпортить сочувственную улыбку и журнальное благообразие его лица, А декан Гарретсен нахмурился, словно столкнулся с совершенно непонятной идеей. Так редко видишь, чтобы хороший политик или университетский администратор был бы застигнут врасплох! Эти моменты следует бережно хранить в памяти. И этот я все еще бережно храню и сегодня.

— Вранье! — сказал Душка более обиженно, чем сердито. — Ну зачем ты врешь, Нат? Ты последний человек на третьем, о ком бы я...

— Это не вранье, — сказал Нат. — Пойди в мою комнату и достань из шкафа мой бушлат, если не веришь мне. Проверь.

— Да, а заодно и мою, — сказал я, вставая рядом с Натом. — Мою старую школьную куртку. Ты ее сразу узнаешь. Ну, та, со знаком мира на спине.

Эберсоул вглядывался в нас слегка прищуренными глазами. Потом спросил:

— А когда точно вы нарисовали этот так называемый знак мира на своей одежде, молодые люди?

На этот раз Нат соврал. К тому времени я настолько хорошо его узнал, что понимал, как это было ему тяжело.., но он не Дрогнул.

— В сентябре.

Это доконало Душку. «Ну прямо выдал ядерный взрыв», — как выразились бы мои дети, только это было бы неточно. Выдал Душка Дональда Дака. Не то чтобы он запрыгал, хлопая руками и испуская «кря-кря-кря», как делал Дональд, впадая в гнев, но он таки испустил вопль возмущения и хлопнул себя по пятнистому лбу кулаками. Эберсоул снова его осадил, на этот раз ухватив за плечо.

— А вы кто? — спросил Эберсоул меня. Теперь уже скорее резко, чем мягко.

— Пит Рили. Я нарисовал на своей куртке знак мира, потому что мне понравился стоуковский. И еще чтобы показать, что у меня есть кое-какие вопросы о том, что мы делаем во Вьетнаме.

Душка вывернулся из-под руки Эберсоула. Он выпятил подбородок, губы у него растянулись так, что открыли полный набор зубов.

— Помогаем нашим союзникам, ты, дебил! — закричал он. — Если у тебя не хватает собственного ума сообразить это, рекомендую тебе прослушать курс полковника Андерсона — введение в военную историю. Или ты еще один подлый трус, который...

— Тише, мистер Душборн, — сказал декан Гарретсен. Его тихость каким-то образом казалась оглушительней криков Душки. — Здесь не место для дебатов по поводу внешней политики и не время для личных выпадов. Как раз наоборот.

Душка опустил пылающее лицо, уставился в пол и начал грызть губы.

— И когда же, мистер Рили, вы поместили этот знак мира на вашу куртку? — спросил Эберсоул. Голос его оставался вежливым, но в глазах пряталась злость. Думаю, он к тому времени уже понял, что Стоук ускользнет, и это ему крайне не нравилось. Душка был мелочишкой в сравнении с ему подобными — теми, кто в 1966 году появились в американских университетах. Времена призывают своих людей, сказал Лао-Цзы, и вторая половина шестидесятых призвала Чарльза Эберсоула. Он не был деятелем на ниве просвещения, он был стражем правопорядка и по совместительству представителем по связи с общественностью.

«Не лги мне, — сказали его глаза. — Не лги мне, Рили. Ведь если ты солжешь и я это узнаю, я из тебя фарш сделаю».

Да плевать! Вероятно, к 15 января меня в любом случае здесь уже не будет; к Рождеству 1967 года я могу быть уже в Пу-Бай, согревая местечко для Душки.

— В октябре, — сказал я. — Нарисовал его на своей куртке не то перед Днем Колумба, не то после.

— У меня он на куртке и нескольких фуфайках, — сказал Скип. — Они все у меня в комнате. Если хотите, могу показать.

Душка, багровый до корней волос, все еще глядел в пол и размеренно покачивал головой.

— И у меня он есть на паре фуфаек, — сказал Ронни. — Я не мирник, но знак тот еще. Он мне нравится.

Тони ДеЛукка сказал, что и у него есть знак на спине фуфайки.

Ленни Дориа сообщил Эберсоулу и Гарретсену, что нарисовал его на переплетах нескольких учебников, а также на первой странице записной книжки с расписанием. Если они хотят, он сейчас ее принесет.

У Билли Марчанта знак был на куртке.

Брад Уизерспун вывел его чернилами на своей студенческой шапочке. Шапочка лежит у него где-то в шкафу, возможно, под бельем, которое он забыл отвезти домой, чтобы мама постирала.

Ник Праути сказал, что нарисовал знаки мира на конвертах своих любимых пластинок: «Начхаем на заботы» и «Уэйн Фонтана с Умопомрачителями».

— Да у тебя ума не хватит, чтобы помрачиться, яйца зеленые, — пробормотал Ронни, и ладони загородили хихикающие рты.

Еще несколько человек сообщили, что у них есть знаки мира на учебниках или предметах одежды. И все утверждали, что нарисовали их задолго до появления граффити на северной стене Чемберлен-Холла. И последний, сюрреалистический штрих: Хью встал, вышел в проход и задрал штанины джинсов настолько, чтобы показать желтые носки, обтягивающие его волосатые голени. На обоих носках был нарисован знак мира маркером для меток на белье, который миссис Бреннен дала своему сыночку с собой в университет — скорее всего за весь семестр хренов маркер был использован в первый и последний раз.

— Как видите, — сказал Скип, когда признания и демонстрирования завершились, — сделать это мог любой из нас.

Душка медленно поднял голову. От багровой краски на его лице осталось только пятно над левой бровью, смахивавшее на ожог.

— Почему вы врете ради него? — спросил он, выждал, но никто не отозвался. — До каникул Дня Благодарения ни у кого из вас не было ни единого знака мира ни на одной вещи, хоть под присягой покажу и ставлю что угодно, до этого вечера почти ни у кого из вас его не было. Почему вы врете ради него?

Никто не ответил. Тишина росла, и с ней росло ощущение силы, и мы все ее чувствовали. Но кому она принадлежала? Им или нам? Ответа не было. И все эти годы спустя настоящего ответа пока так и нет.

Затем к трибуне направился декан Гарретсен. Душка не смотрел в его сторону, но тут же попятился. Декан оглядел нас с веселой улыбочкой.

— Это глупость, — сказал он. — То, что написал мистер Джонс, было глупостью, а эта ложь — еще большая глупость. Скажите правду, ребята. Признайтесь.

Никто ничего не сказал.

— Мы поговорим с мистером Джонсом утром, — сказал Эберсоул. — Быть может, после этого кому-нибудь из вас, ребятки, захочется слегка изменить свои истории.

— Я бы не стал особенно доверять тому, что вам может наговорить Стоук, — сказал Скип.

— Верно, старина Рви-Рви опупел, как крыса в сральне, — сказал Ронни.

Послышался странный сочувственный смех.

— Крыса в сральне! — заорал Ник. Его глаза сияли. Он ликовал, как поэт, которого наконец-то осенило Ie mot juste [требуемое слово (фр.).]. — Крыса в сральне, вот и весь старина Рви. — И в том, что явилось, пожалуй, заключительным триумфом безумия над рациональностью, Ник Праути с совершенством изобразил Фогхорна Легхорна:

— Говорю же, говорю вам, мальчик спятил! Потерял колесо колясочки! Потерял две трети карт из колоды! Он...

Мало-помалу до Ника дошло, что Эберсоул и Гарретсен смотрят на него — Эберсоул с брезгливостью, Гарретсен почти с интересом, будто на новую бактерию под микроскопом.

— ..немножко головой тронулся, — докончил Ник, уже никому не подражая от смущения, этого бича всех великих артистов. Он торопливо сел.

— Я имел в виду не совсем это, — сказал Скип. — И не то, что он калека. Он чихал, кашлял, и из носа у него текло с того дня, как вернулся. Даже ты должен был это заметить. Душка.

Душка не ответил, даже на этот раз не отреагировал на прозвище. Да, пожалуй, он действительно очень устал.

— Я только хотел сказать, что он может наговорить много чего, — сказал Скип, — и даже сам этому верить. Но он тут ни при чем.

Улыбка Эберсоула вынырнула из небытия, но теперь в ней не было и крупицы юмора.

— Мне кажется, я понял соль ваших аргументов, мистер Кирк. Вы хотите, чтобы мы поверили, будто мистер Джонс не отвечает за надпись на стене, но если он все-таки признается, что причастен к ней, мы не должны верить его словам.

Скип тоже улыбнулся — тысячеваттной улыбкой, от которой сердца девушек грозили выскочить из груди.

— Вот именно, — сказал он. — В этом соль моих аргументов. Наступило мгновение тишины, а затем декан Гарретсен произнес то, что можно счесть эпитафией нашей краткой эпохи:

— Вы меня разочаровали, ребята, — сказал он. — Идемте, Чарльз. Нам тут больше нечего делать.

Гарретсен взял свой портфель, повернулся на каблуках и пошел к двери.

Эберсоул как будто удивился, но поспешил следом за ним. Так что Душке и его подопечным с третьего этажа осталось только смотреть друг на друга с недоверием и упреком.

— Спасибо, парни. — Дэвид почти плакал. — Спасибо в целую кучу говна.

Он вышел, опустив голову, сжимая в руке свою папку. В следующем семестре он покинул Чемберлен и вступил в землячество. Учитывая все, пожалуй, так было лучше всего. Как мог бы сказать Стоук: Душка утратил убедительность.

Глава 40

— Значит, вы и это украли, — сказал Стоук Джонс с кровати в амбулатории, когда наконец смог говорить. Я только что сообщил ему, что теперь в Чемберлен-Холле почти все украсили свою одежду воробьиным следком. Мне казалось, он обрадуется. Я ошибся.

— Не лезь в бутылку, — сказал Скип, похлопывая его по плечу. — Не напрашивайся на кровоизлияние.

Стоук даже не посмотрел на него. Черные обвиняющие глаза сверлили меня.

— Присвоили честь за сделанное, затем присвоили знак мира. Кто-нибудь из вас обследовал мой бумажник? По-моему, там лежало не то девять, не то десять долларов. Могли бы забрать и их. Чтобы уж совсем подчистую. — Он отвернул голову и начал бессильно кашлять. В этот холодный день начала декабря шестьдесят шестого он выглядел совсем хреново и куда старше своих восемнадцати лет.

Прошло четыре дня после плавания Стоука в Этапе Беннета. Врач — его фамилия была Карбери — на второй день, казалось, пришел к выводу, что практически все мы — близкие друзья Стоука, как бы странно ни вели себя, когда внесли его в приемную, — мы то и дело заходили узнать, как он. Карбери уж не знаю сколько лет лечил студенческие ангины и накладывал гипс на кости, вывихнутые на футбольном поле, и скорее всего знал, что на грани совершеннолетия поведение юношей и девушек непредсказуемо. Они могут выглядеть вполне взрослыми и при этом в избытке сохранять детские закидоны. Примером служит Ник Праути, выпендривавшийся перед деканом — таковы мои доказательства, ваша честь. Карбери не сказал, как плохо было Стоуку. Одна из санитарочек (почти уже влюбленная в Скипа, как мне показалось, когда увидела его во второй раз) прояснила для нас картину, хотя, в сущности, мы знали и так. Тот факт, что Карбери поместил его в отдельную палату вместо общей мужской, уже что-то сказал нам; тот факт, что первые сорок восемь часов его пребывания там нам не разрешили даже взглянуть на него, сказал нам побольше; тот факт, что его не отправили в стационар, до которого было всего восемь миль по шоссе, сказал нам больше всего. Карбери не рискнул перевезти его даже в университетской машине «скорой помощи». Стоуку Джонсу было худо, дальше некуда. По словам санитарочки, у него была пневмония, начальная стадия переохлаждения из-за купания в луже, и температура, поднимавшаяся почти до сорока одного градуса. Она слышала, как Карбери говорил кому-то по телефону, что если бы автокатастрофа еще хоть нанемного уменьшила объем легких Джонса — или ему было бы тридцать — сорок лет вместо восемнадцати, — то он почти наверное умер бы.

Мы со Скипом были первыми посетителями, которых к нему допустили. Любого другого из общежития, уж конечно, навестил бы кто-то из родителей, но не Джонса, как мы знали теперь. А если у него были другие родственники, они не дали о себе знать.

Мы рассказали ему обо всем, что произошло в тот вечер, опустив лишь одно: смех, который забушевал в гостиной, когда мы увидели, как он в тучах брызг одолевает Этап Беннета, и не прекращался, пока мы не принесли его почти без сознания в приемную. Он молча слушал мой рассказ о том, как Скип придумал украсить наши учебники и одежду знаками мира, чтобы Стоук больше не выделялся. Даже Ронни Мейлфант согласился, добавил я, и не пискнул. Сказали мы ему для того, чтобы он мог согласовать свою версию с нашей; сказали еще и для того, чтобы он понял, что теперь, признав свою вину (честь в сотворении граффити), он навлечет неприятности не только на себя, но и на нас. И сказали мы ему без того, чтобы сказать ему в открытую. Этого не требовалось. Ноги у него не работали, но между ушами все было чин-чинарем.

— Убери свою руку, Кирк. — Стоук ужался, насколько позволяла узкая кровать, и снова закашлялся. Помню, я подумал, что, судя по его виду, он и четырех месяцев не протянет, но туг я ошибся. Атлантида канула на дно, но Стоук Джонс все еще на плаву: имеет юридическую практику в Сан-Франциско. Его черные волосы осеребрились и красивы не хуже прежнего. Он обзавелся красным инвалидным креслом. В программах кабельного телевидения оно выглядит очень эффектно.

Скип разогнулся и сложил руки на груди.

— Благодарности я не ждал, но это слишком-слишком, — сказал он. — На этот раз ты себя превзошел, Рви-Рви.

— Не называй меня так! — Его глаза сверкнули.

— Тогда не называй нас ворами только за то, что мы старались выручить твою тощую жопу. Черт, мы же СПАСЛИ твою тощую жопу!

— Никто вас об этом не просил.

— Да, — сказал я. — Ты никого ни о чем не просишь, так? Думаю, тебе понадобятся костыли покрепче, чтобы выдерживать всю злость, которую ты в себе носишь.

— Злость — это то, что у меня есть, дерьмо. А что есть у тебя? Всякая всячина, которую требовалось поднагнать, вот что было у меня. Но Стоуку я этого не сказал. Почему-то я не думал, что он растает от симпатии.

— А что ты помнишь из того дня? — спросил я.

— Помню, как написал «е... ый Джонсон» на общежитии — я это обдумывал уже пару недель, — и помню, как пошел в час на занятия. А на них обдумывал, что я скажу декану, когда он меня вызовет. Какого рода ЗАЯВЛЕНИЕ я сделаю. После этого только обрывки. — Он сардонически усмехнулся и завел глаза в синеватых глазницах. Он пролежал тут без малого неделю, но все равно выглядел безмерно усталым. — По-моему, я помню, как сказал вам, ребята, что хочу умереть. Было это?

Я не ответил. Он дал мне предостаточно времени, но я отстоял свое право молчать.

Наконец Стоук пожал плечами — ну, будто говоря, ладно, оставим это. В результате с его костлявого плеча сполз рукав нижней рубашки. Он поправил его, двигая рукой с большой осторожностью — в нее была вколота игла капельницы.

— Так, значит, вы, ребята, открыли для себя знак мира, а? Чудесно. Сможете надевать его, когда отправитесь на зимний карнавал. Ну а я — меня тут не будет. Для меня тут все кончено.

— Если ты продолжишь образование на другом краю страны, ты думаешь, что сможешь бросить костыли? — спросил Скип. — А то и выйдешь на беговую дорожку?

Меня это немножко резануло, но Стоук улыбнулся. Настоящей улыбкой — солнечной и безыскусной.

— Костыли роли не играют, — сказал он. — Времени слишком мало, чтобы тратить его зря, вот что важно. Тут никто не знает, что происходит, и не интересуется. Серенькие люди. День прожит, и ладно. В Ороно, штат Мэн, покупка пластинки «Роллинг Стоунз» расценивается как революционный поступок.

— Некоторые люди узнали больше, чем знали раньше, — сказал я.., но меня тревожили мысли о Нате, который тревожился, что его мать может увидеть фотографию, как его арестуют, а потому остался на тротуаре. Лицо на заднем фоне, лицо серенького мальчика на пути к стоматологии в двадцатом веке.

В дверь всунулась голова доктора Карбери.

— Вам пора, молодые люди. Мистеру Джонсу надо отдыхать и отдыхать. Мы встали.

— Когда к тебе придет декан Гарретсен, — сказал я, — или этот тип Эберсоул...

— Насколько это касается их, весь тот день — сплошная пустота, — сказал Стоук. — Карбери поставит их в известность, что у меня бронхит с октября, а пневмония со Дня Благодарения, так что им придется поверить. Я скажу, что мог в тот день сделать что угодно. Кроме как бросить костыли и пробежать марафон.

— Мы же не украли твой знак, — сказал Скип. — Мы его просто позаимствовали.

Стоук обдумал его слова, потом вздохнул.

— Это не мой знак, — сказал он.

— Угу, — сказал я. — Теперь уже нет. Бывай, Стоук. Мы к тебе еще заглянем.

— Не считайте себя обязанными, — сказал он, и, полагаю, мы поймали его на слове, потому что больше к нему в амбулаторию не заходили. Потом я несколько раз видел его в общежитии — четыре-пять раз, и я был на занятиях, когда он уехал, не потрудившись закончить семестр. Снова я увидел его в телевизионных новостях почти двадцать лет спустя, когда он выступал на митинге «Гринписа» сразу после того, как французы взорвали «Рэйнбоу Уорриор». Было это, значит, в году 1984–1985-м. С тех пор я видел его на голубом экране довольно часто. Организует сбор средств на охрану окружающей среды, выступает в студгородках со своего в нос шибающего красного кресла, защищает в суде экологов-активистов, когда они нуждаются в защите. Я слышал, как его называли не слишком приятными названиями, и держу пари, ему это по-своему нравится. Он все еще носит в себе злость. И я рад. Ведь, как он сказал, это то, что у него есть.

Когда мы подходили к двери, он нас окликнул:

— Эй!

Мы оглянулись на узкое лицо, белеющее на белой подушке над белой простыней — единственным другим цветом была только копна черных волос. Очертания его ног под простыней снова напомнили мне Дядю Сэма на параде Четвертого Июля у нас в городке. И вновь я подумал, что по его виду ему больше четырех месяцев не прожить. Однако добавьте к этой картине еще и полоски белых зубов, потому что Стоук улыбался.

— Так что «эй»? — спросил Скип.

— Вас обоих так заботило, что я скажу Гарретссну и Эберсоулу.., может быть, у меня комплекс неполноценности или еще что-то, только мне не верилось, что дело во мне. Так вы оба что, решили по-настоящему заниматься, перемены ради?

— А если так, мы, по-твоему, вытянем?

— Возможно, — сказал Стоук. — Одно я помню про этот вечер. И очень ясно.

Я решил, он скажет, что помнит, как мы смеялись над ним — Скип подумал то же самое, как сказал мне позже, — но оказалось не то.

— Ты внес меня в дверь смотровой в одиночку, — сказал он Скипу. — И не уронил.

— Само собой. Ты не так уж много весишь.

— И все же.., умереть это одно, но никому не хочется, чтобы его роняли на пол. Очень унизительно. Но раз ты сумел, я дам тебе хороший совет. Отвернись от спортивных программ, Кирк, если у тебя стипендия не по спорту.

— Зачем?

— Затем, что они превратят тебя в совсем другого человека. Возможно, времени это потребует чуть больше, чем потребовалось РОТС, чтобы превратить Дэвида Душборна в Душку, но в конце концов они своего добьются.

— Что ты знаешь о спорте? — мягко спросил Скип. — Что ты знаешь о том, что значит быть членом команды?

— Я знаю, это плохое время для ребят в форме, — сказал Стоук, откинулся на подушку и закрыл глаза. Но отличное время для девушек, сказала Кэрол. 1966 год был отличным годом для девушек.

Мы вернулись в общежитие и пошли в мою комнату заниматься. Дальше по коридору в гостиной Ронни, и Ник, и Ленни, и почти все остальные травили Стерву. Через некоторое время Скип закрыл дверь, чтобы не слышать их голосов, а когда этого оказалось недостаточно, я поставил пластинку на маленький проигрыватель, и мы слушали Фила Окса. Оке уже умер — как моя мать и как Майкл Лэндон. Он повесился на своем поясе примерно тогда же, когда Стоук Джон подвизался на ниве «Гринписа». Процент самоубийств среди уцелевших атлантидцев очень велик. Ничего удивительного, по-моему. Когда ваш континент уходит на дно прямо у вас под ногами, с вашей головой что-то происходит.

Глава 41

Дня через два после посещения Стоука в амбулатории я позвонил моей матери и сказал, что если она и правда может прислать мне добавочную сумму, то я хотел бы по ее совету подзаняться с репетитором. Она не задала много вопросов и не бранила меня — когда моя мама не бранилась, это значило, что она по-настоящему сердится, — но три дня спустя я получил перевод на триста долларов. К ним я присоединил мой выигрыш в «червях» — к моему удивлению, он составил восемьдесят долларов. Целая куча пятицентовых монет.

Маме я про это не сказал, но ее триста долларов я потратил на ДВУХ репетиторов — один был аспирантом и помог мне приобщиться к тайнам тектонических платформ и дрейфа материков, а другой был куривший травку старшекурсник из Кинг-Холла, который помогал Скипу с антропологией (и, возможно, написал за него пару курсовых, хотя точно я этого не знаю). Этого второго звали Гарри Брандсйдж, и от него первого я услышал: «У-ух, облом!»

Вместе, Скип и я, пошли к декану по искусству и наукам (о том, чтобы пойти к Гарретсену после ноябрьского собрания в клубном зале Чемберлена, вопроса, конечно, не вставало) и изложили ему наши трудности. Формально, как первокурсники, мы не имели к нему никакого отношения, но декан Рэндл выслушал нас. И посоветовал поговорить с каждым нашим преподавателем, объяснить ему, как обстоит дело.., практически воззвать к его милосердию.

Мы последовали этому совету, стискивая зубы от омерзения. Одна из причин нашей дружбы в те годы лежала в нашем воспитании в духе янки и, в частности, в твердом правиле не просить о помощи, кроме самых крайних случаев, а может быть, даже и тогда. И выдержали мы эти мучительные беседы только благодаря этой самой дружбе. Когда со своим преподавателем разговаривал Скип, я ждал его в коридоре, выкуривая сигарету за сигаретой. Когда была моя очередь, он ждал меня.

В целом у преподавателей мы нашли больше сочувствия, чем я мог даже предположить: почти все постарались, чтобы мы не просто сдали экзамены, но сдали их с оценками, позволяющими сохранить стипендию. Только преподаватель математики Скипа остался твердокаменным, но Скип достаточно разбирался в дифференциальном исчислении и не нуждался в особой помощи. Много лет спустя до меня дошло, что для большинства наших преподавателей проблема была моральной, а не академической: им не хотелось натыкаться на фамилии своих бывших студентов в списках погибших и спрашивать себя, не они ли отчасти стали причиной. И что разница между D и С с минусом была также разницей между мальчиком, видящим и слышащим, и бесчувственным обрубком, прозябающим в каком-нибудь госпитале для ветеранов.

Глава 42

После одной из таких бесед, когда впереди уже грозно маячили экзамены конца семестра, Скип отправился на встречу со своим репетитором-антропологом в «Медвежью берлогу» для натаскивания, подогреваемого кофе. Я дежурил в Холоуке. Когда конвейер наконец остановился до вечера, я вернулся в общежитие, чтобы опять засесть за учебники. В вестибюле я заглянул в свою почтовую ячейку и нашел розовое извещение о бандероли.

Бандероль была упакована в оберточную бумагу и перевязана шпагатом, однако ее украшали наклейки с рождественскими колоколами и остролистом. Обратный адрес был как неожиданный удар кулаком в живот: «Кэрол Гербер, 172, Броуд-стрит, Харвич, Коннектикут».

Я даже не пробовал позвонить ей — и не только потому, что был занят спасением своей жопы. Думаю, что истинную причину я понял только, когда увидел ее имя на этой бандероли. Я был убежден, что она вернулась к Салл-Джону. Что тот вечер, когда мы занимались любовью в моей машине под старые песни, был для нее уже забытым прошлым. Что забытым прошлым был и я.

Фил Оке пел на проигрывателе Ната, но сам Нат похрапывал в кровати с раскрытым номером «Ньюсуика» на лице. Обложку занимал генерал Уэстморленд. Я сел к своему столу, положил бандероль перед собой, протянул руку к шпагату и остановился. «Сердца очень крепки, — сказала она. — Чаще всего они не разбиваются. Чаще всего они просто чуть проминаются». Конечно, она была права.., но мое жгла боль, пока я сидел и смотрел на рождественскую бандероль, которую она прислала мне, сильная боль. На проигрывателе пел Фил Оке, но я слышал другую, более старую, более нежную музыку. Я слышал «Плэттеров».

Я разорвал шпагат, содрал клейкую ленту, развернул бумагу и в конце концов извлек на свет белую картонную коробочку. Внутри был подарок, обернутый красной глянцевой бумагой и перевязанный белой атласной лентой. А еще квадратный белый конверт с моим именем, написанным ее таким знакомым почерком. Я вскрыл конверт и вытащил роскошную поздравительную складную открытку — тому, кто тебе дорог, стараешься послать самое лучшее и все такое. Фольга, снежинки, ангелы из фольги трубили в трубы из фольги. Когда я развернул открытку, на ее подарок мне упала газетная вырезка. Из «Джорнэл», харвичской газеты. По верхнему полю над заголовком Кэрол написала: «На этот раз я добилась своего — Пурпурное Сердце! Не беспокойся, пять швов в травмпункте, и я вернулась домой к ужину».

Заголовок гласил: «б ПОСТРАДАВШИХ, 14 АРЕСТОВАННЫХ, КОГДА ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОТЕСТА ПРОТИВ ПРИЗЫВА ПЕРЕШЛА В ДРАКУ». Фотография резко контрастировала со снимком в «Дерри ньюс», на котором все, даже полицейские и строительные рабочие, затеявшие свой импровизированный контрпротест, выглядели почти благодушными. В харвичском «Джорнэле» все выглядели обозленными, ошарашенными — на две тысячи световых лет от благодушия. Крутые типы с татуировкой на бицепсах и жутко искаженными лицами, длинноволосые ребята, смотрящие на них с яростным вызовом. Один из этих протягивал руки к регочущим верзилам, будто говоря: «Ну, давайте же! Разорвать меня хотите?» А между этими двумя группами — полицейские, настороженные, полные напряжения.

Слева (Кэрол указала это место стрелочкой, будто я мог его не заметить!) была ЗНАКОМАЯ куртка с «ХАРВИЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ ШКОЛА» на спине. Снова ее лицо было повернуто от камеры, а не к ней. Я различил стекающую по щеке кровь куда яснее, чем мне хотелось бы. Она могла рисовать сколько угодно шутливых стрелочек и писать сверху сколько угодно бодрых пояснений, меня это не развеселило. На ее лице была полоса не шоколадного соуса. Полицейский ухватил ее за локоть. Девушка на этом новом снимке словно бы не принимала к сердцу ни этот факт, ни кровь из раны на виске (если в тот момент она вообще осознавала, что ранена). Девушка на новом снимке улыбалась. В одной руке она держала плакат с призывом «ОСТАНОВИТЕ УБИЙСТВА!». Другая рука была протянута к камере — указательный и средний пальцы растопырены в V. V — знак Победы, подумал я тогда. Но, конечно, значил он уже другое. К 1969 году это V было так же неотъемлемо от воробьиного следка, как ветчина от яичницы.

Я прочел заметку, но в ней не было ничего особо интересного. Протест.., контрпротест.., две-три потасовки.., вмешательство полиции. Тон заметки был и высокопарным, и брезгливым, и похлопывающим по плечу одновременно; мне вспомнилось, как Эберсоул и Гарретсен смотрели на нас в тот вечер. «Вы меня разочаровали, ребята». Все, кроме трех из арестованных участников протеста, были позднее отпущены в тот же день, и ни одна фамилия названа не была, из чего следовало, что все они были моложе двадцати одного года.

Кровь у нее на лице. И все-таки она улыбалась.., торжествующе улыбалась. Тут я осознал, что Фил Оке все еще поет — я убил людей миллионов пять, теперь в бой меня они гонят опять, — и по спине у меня побежали мурашки.

Я раскрыл открытку. Штампованные зарифмованные сантиметры — они фактически всегда одинаковы, верно? Веселого Рождества, от души надеюсь, что ты не скапутишься в Новом году. Я толком их и не прочел. Напротив стишков на чистой стороне она написала мне — так много, что места еле хватило:

Дорогой Шестой Номер!

Просто хочу пожелать тебе веселого-веселого Рождества и сообщить, что у меня все в порядке. Я нигде не учусь, хотя сблизилась с кое-какими учащимися (см, вложенную вырезку и думаю, что в конце концов возобновлю занятия, может быть, осенью следующего года. С мамой не очень, но она старается, а мой брат более или менее пришел в норму. И Рионда помогает. Пару раз я виделась с баллом, но это уже не то. Как-то вечером он зашел посмотреть телевизор, и мы были как чужие.., а может быть, на самом деле я хочу сказать, что мы были как старые знакомые в поездах, идущих в разных направлениях.

Мне тебя не хватает, Пит. Думаю, что и наши поезда идут в разные направлениях, но я никогда не забуду времени, которое мы провели вместе. Оно было чудесным и самым лучшим (особенно последний вечер). Можешь написать мне, если хочешь, но я бы предпочла, чтобы ты не писал. Это может оказаться не самым лучшим для нас обоих. Из этого не следует, что мне безразлично или что я забила, в как раз наоборот.

Помнишь вечер, когда я показала тебе ту фотографию и рассказала, как меня избили? Как мой друг Бобби выручил меня? У него в то лето была книга. Емy ее подарил жилец с верхнего этажа, Бобби говорил, что это самая лучшая книга, какую он только читал. Конечно, не так уж много это значит, когда тебе одиннадцать. Но в старшем классе я наткнулась на нее в школьной библиотеке и прочла — просто чтобы составить собственное мнение. Не самая лучшая, какие я читала, но вполне и вполне. Я подумала, что тебе она может понравиться. Она была написана двенадцать лет назад, но все равно мне кажется, что это про Вьетнам. А если нет, то в ней полно информации.

Я люблю тебя, Пит. Веселого Рождества!

Кэрол

Р. S. Брось ты эту дурацкую карточную игру.

Я прочел и перечел это письмо, потом бережно сложил заметку и положил внутрь открытки, а мои руки все еще дрожали. Думаю, где-то у меня еще хранится эта открытка.., как, я уверен, где-то «Красная Кэрол» Гербер все еще хранит маленький снимок своих друзей детства. То есть если она жива. Быть уверенным в этом никак нельзя: очень многих из ее последних известных друзей уже давно нет в живых.

Я развернул подарок. Внутри — резко контрастируя с нарядной рождественской бумагой и белой атласной лентой — был экземпляр «Повелителя мух» Уильяма Голдинга в бумажной обложке. В школе я пропустил эту книгу, отдав предпочтение «Сепаратному миру» в списке рекомендованной литературы, — просто потому, что «Мир» выглядел покороче.

Я открыл ее, думая, что, возможно, увижу надпись. И увидел, но не такую, какую ожидал, совсем не такую. Вот что я увидел на белом пространстве титульного листа:

Внезапно мои глаза наполнились нежданными слезами. Я прижал руку ко рту, чтобы удержать рвавшееся наружу рыдание. Я не хотел будить Ната, не хотел, чтобы он увидел, что я плачу. А я плакал. Я сидел за своим столом и плакал о ней, плакал о себе, плакал о нас обоих, о нас всех. Не помню, чтобы когда-нибудь еще в жизни мне было так больно, как тогда. Сердца очень крепки, сказала она, чаще всего сердца не разбиваются, и я уверен, это так и есть.., ну, а в то время? Ну, а те, кем мы были тогда? Ну, а сердца в Атлантиде?

Глава 43

Как бы то ни было, мы со Скипом выжили. Нагнали, со скрипом сдали экзамены и вернулись в Чемберлен-Холл в середине января. Скип сказал мне, что на каникулах написал письмо Джону Уилкинсу, бейсбольному тренеру, предупреждая, что передумал играть в команде.

Нат тоже вернулся на третий этаж Чемберлен-Холла, как и, ко всеобщему изумлению, Ленни Дориа — по академической программе, но вернулся. Однако его paisan Тони ДеЛукка не вернулся. Как и Марк Сент-Пьер, Барри Маржо, Ник Праути, Брад Уизерспун, Харви Туилли, Рэнди Эколлс.., ну и, конечно, Ронни. В марте мы получили от него открытку. Со штемпелем Льюистона и адресованную просто дурачью третьего этажа Чемберлен-Холла. Мы приклеили ее в гостиной над креслом, в котором Ронни чаще всего сидел во время игры. На лицевой стороне красовался Альфред Э. Ньюман, прямо с обложки журнала «Мэд». На обратной стороне Ронни написал:

«Дядя Сэм зовет, и я должен идти. Меня ждут пальмы, и хрен со всем. Другое дело, я кончил с 21 турнирным очком. И значит, я победитель». И подпись «РОН». Мы со Скипом засмеялись. Для нас сыночек-матерщинник миссис Мейлфант останется Ронни до конца своих дней.

Стоук Джонс, он же Рви-Рви, тоже не вернулся. Некоторое время я почти совсем о нем не думал, но полтора года спустя его лицо и воспоминания о нем всплыли в моей памяти с ошеломляющей (хотя и краткой) ясностью. В то время я сидел в тюрьме в Чикаго. Не знаю, сколько нас забрали легавые перед зданием, где происходил съезд Демократической партии, выдвинувший кандидатуру Губерта Хамфри, но очень много, и многие получили травмы. Год спустя «комиссия с голубой лентой» в своем отчете назвала события того вечера «полицейскими беспорядками».

Для меня демонстрация закончилась в камере предварительного заключения, предназначенной для пятнадцати — в крайнем случае двадцати человек, вместе с шестьюдесятью отравленных газом, оглушенных, нанюхавшихся, избитых, обработанных, измордованных, до хрена окровавленных хиппи. Кто курил травку, кто плакал, кто блевал, кто пел песни протеста (из дальнего угла какой-то парень, которого я даже не увидел, выдал пронаркотизированный вариант «Больше я не марширую»). Все это смахивало на галлюцинаторный тюремный вариант состязания, сколько человек сумеют набиться в телефонную будку.

Я был прижат к решетке, пытаясь оберечь нагрудный карман (пачка «Пелл-Мелл») и боковой карман («Повелитель мух», подарок Кэрол, теперь сильно растрепанный, потерявший переднюю обложку, рассыпающийся по листочкам), как вдруг передо мной возникло лицо Стоука, четкое и детализированное, как фотография высокого разрешения. Оно возникло ниоткуда, быть может, какой-то темный уголок памяти вдруг осветился, включенный ударом полицейской дубинки по голове или живительной понюшкой слезоточивого газа, И вместе с ним возник вопрос.

— Какого хрена калека делал на третьем этаже? — спросил я вслух.

Коротышка с копной золотистых волос — смахивающий на Питера Фрэмптона в виде карлика, если вам это что-то говорит — оглянулся на меня. Лицо у него было бледное и прыщавое. Под носом и на одной щеке подсыхала кровь.

— Чего-чего? — спросил он.

— Какого хрена калека делал на третьем этаже университетского общежития? Без лифта? Почему его не поместили на первом этаже? — И тут я вспомнил, как Стоук нырками двигался к Холиоуку — голова опущена, волосы падают на глаза, — как Стоук бормочет «рви-Рви, рви-Рви, рви-Рви» на каждом вздохе. Стоук, двигающийся так, словно все вокруг были его врагами. Пощадите его, и он попытается расстрелять весь мир.

— Я чего-то не понимаю. О чем...

— Разве что он их попросил, — сказал я. — Разве что он безоговорочно потребовал.

— Во-во, — сказал коротышка с волосами Питера Фрэмптона. — Травки не найдется? Хочу в отключку. Хренова дыра. Хочу кайф поймать.

Глава 44

Скип стал художником и знаменитостью в своем роде. Не как Норман Рокуэлл, и вы нигде не найдете репродукции ни единой скульптуры Скипа, но у него хватало выставок — Лондон, Рим, Нью-Йорк, в прошлом году Париж, и о нем постоянно пишут. Критики в изобилии называют его поверхностным, приправой на месяц (некоторые называют его приправой на месяц в течение двадцати пяти лет), пошлым умом, с помощью дешевой системы образов общающимся с другими пошлыми умами. Другие критики хвалят его за честность и энергию. Я склоняюсь ко второму мнению, но полагаю, это естественно: я ведь знал его в наши дни, ведь мы вместе спаслись с великого тонущего континента, и он по-прежнему мой друг. В каком-то смысле он мой paisan.

И есть критики, которые указывают на гнев, так часто воплощенный в его работах, гнев, который я впервые ясно увидел во вьетнамской семье из папье-маше, которую он сжег перед университетской библиотекой под рвущийся из усилителей ритм «Янгбладс» тогда — в 1969 году. И да. Да! Что-то в этом есть. Некоторые работы Скипа смешны, а некоторые печальны, а некоторые причудливы, но большинство дышат гневом — почти все его гипсовые, и картонные, и глиняные люди словно шепчут: «Запалите меня, запалите меня и слушайте, как я кричу: ведь на самом деле это все еще 1969 год, это все еще Меконг, и так будет всегда». «Гнев Стэнли Кирка — вот что делает его произведения весомыми», — написал один критик о его выставке в Бостоне, и, я полагаю, тот же самый гнев содействовал его сердечному припадку два месяца назад.

Позвонила его жена и сказала, что Скип хочет меня видеть. Врачи не нашли ничего особенно серьезного, но Капитан остался при другом мнении. Мой старый paisan Капитан Кирк считал, что умирает.

Я прилетел в Палм-Бич и, когда я увидел его — белое лицо под почти белоснежными волосами на белой подушке, — это мне что-то напомнило, но сначала я не сообразил, что именно.

— Ты думаешь о Джонсе, — сказал он хрипло и, конечно, был прав. Я ухмыльнулся, и в тот же миг по моей спине пальцем скользнула ледяная дрожь. Иногда к тебе возвращается что-то из прошлого. Иногда оно возвращается.

Я вошел и сел рядом с ним.

— Не так уж плохо.., с вами.

— И не так уж тяжело, — сказал он. — Снова тот день в амбулатории. Только Карбери, вероятно, умер, и на этот раз игла в вене у меня. — Он поднял одну из своих талантливых рук, показал мне иглу и снова опустил руку. — Не думаю больше, что умру. По крайней мере не сейчас.

— Отлично.

— Ты все еще куришь?

— Бросил. С прошлого года. Он кивнул.

— Жена говорит, что разведется со мной, если я не сделаю того же.., так что, пожалуй, мне следует попытаться.

— Сквернейшая из привычек.

— Собственно говоря, по-моему, сквернейшая из привычек — это жизнь.

— Прибереги дерьмовые афоризмы для «Райдерс дайджест», Капитан.

Он засмеялся, потом спросил, получал ли я известия от Ната.

— Открытку на Рождество, как всегда. С фотографией.

— Хренов Нат! — Скип пришел в восторг. — Его приемная?

— Угу. В этом году как фон для Поклонения волхвов. Всем волхвам явно не помешало бы заняться зубами всерьез.

Мы поглядели друг на друга и зафыркали. Но прежде чем Скип засмеялся по-настоящему, он начал кашлять. До жути похоже на Стоука.., на несколько секунд он даже стал похож на Стоука — и у меня по спине опять скользнула ледяная дрожь. Будь Стоук покойником, я решил бы, что нас преследует его призрак, но он был жив. И по-своему Стоук Джонс продался не меньше любого хиппи, который от сбыта кокаина перешел к сбыту дутых акций по телефону. Он любит появляться на голубом экране, наш Стоук. Когда судили О. Д. Симпсона [Звезда американского футбола. В 1994 году был обвинен в убийстве жены и ее любовника, но оправдан. Судебный процесс длился полтора года и почти полностью транслировался по телевидению.], то каждый вечер, переключая программы, можно было наткнуться на Стоука — просто еще один стервятник, кружащий над падалью.

Кэрол не продалась, думается мне. Кэрол и ее друзья.., ну, а что насчет студентов-химиков, которых они убили своей бомбой? Это была ошибка, я всем сердцем убежден, что это была ошибка. Та Кэрол, которую я знал, понимала бы, что это был просто еще один хренов способ сказать, что нам пришлось уничтожить деревню, чтобы ее спасти. Но вы думаете, родственникам этих ребят легче оттого, что случилась ошибка — бомба взорвалась не тогда, когда должна была взорваться, извините? Вы думаете, вопросы о том, кто продался, а кто нет, имеют значение для матерей, отцов, братьев, сестер, любовников, друзей? Вы думаете, это имеет значение для людей, которые вынуждены подбирать клочки и как-то жить дальше? Сердца способны разбиваться. Да, сердца способны разбиваться. Иногда мне кажется, что было бы лучше, если бы мы умирали, когда они разбиваются. Но мы не умираем.

Скип пытался успокоить свое дыхание. Монитор рядом с его кроватью тревожно засигналил. В палату заглянула сестра, но Скип махнул, чтобы она ушла. Сигналы вернулись в прежний ритм, а потому она послушалась. Когда она ушла, Скип сказал:

— Почему мы так весело смеялись в тот день, когда он упал? Я все еще задаю себе этот вопрос. — Да, — сказал я. — И я тоже.

— Так какой же ответ? Почему мы смеялись?

— Потому что мы люди. Некоторое время — по-моему, между Вудстоком и Кентским расстрелом — мы считали, что мы нечто иное, но мы заблуждались.

— Мы считали себя звездной пылью, — сказал Скип, почти сохранив серьезное выражение.

— Мы считали себя золотыми, — согласился я, засмеявшись. — И что мы должны вернуться в райский сад.

— Наклонись-ка, хиппи-бой, — сказал Скип, и я наклонился к нему. И увидел, что мой старый друг, который перехитрил Душку, и Эберсоула, и декана Гарретсена, который обошел своих преподавателей, умоляя помочь ему, который научил меня пить пиво из кувшина и произносить «хрен» с десятком разных интонаций, я увидел, что он плачет. Он протянул ко мне руки. С годами они исхудали, и мышцы теперь были не тугими, а дряблыми. Я нагнулся еще ниже и крепко его обнял.

— Мы пытались, — сказал он мне на ухо. — Никогда не забывай этого. Пит. МЫ ПЫТАЛИСЬ.

Полагаю, что так. По-своему Кэрол пыталась больше любого из нас и заплатила более высокую цену.., то есть за исключением тех, кто умер. И хотя мы забыли язык, на котором говорили в те годы — он канул в небытие, как расклешенные джинсы, рубашки ручной набивки, куртки Неру и плакаты, гласившие «УБИВАТЬ РАДИ МИРА ЭТО ТО ЖЕ, ЧТО ТРАХАТЬСЯ РАДИ ЦЕЛОМУДРИЯ», — порой вдруг возвращается слово-другое. Информация, вы понимаете. Информация. И порой в моих снах и воспоминаниях (чем старше я становлюсь, тем больше они кажутся одним и тем же) я ощущаю запах места, где я говорил на этом языке с такой непринужденной авторитетностью: дуновение земли, аромат апельсинов, замирающий запах цветов.